А. УЛЬЯНСКИЙ



и плен

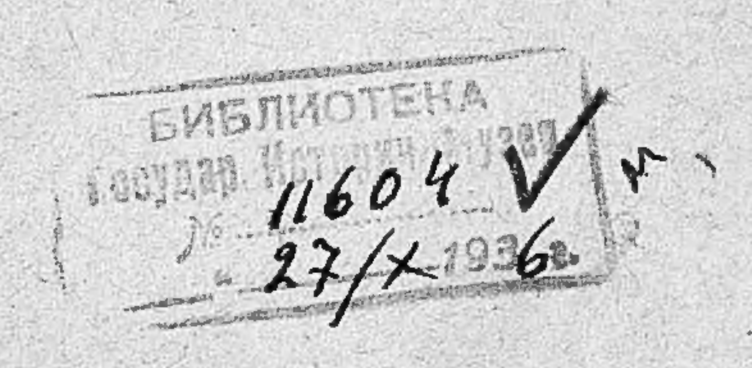
ГОСЛИТИЗДАТ



А. УЛЬЯНСКИЙ

ВОЙНА И ПЛЕН

Государственное Издательство
„Художественная Литература“
Ленинград—1936


БИБЛИОТЕКА
№ 11604
27/X 1936 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ АНТОНА УЛЬЯНСКОГО

Последний рассказ этой книги кончается так: мадьярский фельдфебель и русский пленный солдат наводят порядок в заброшенных бараках госпиталя для военнопленных, несчастные пациенты которого наполовину вымерли, наполовину разбежались, в надежде добраться до родины.

„Когда в бараке не оставалось ни одного человека, фельдфебель вынимал гвоздь и наглухо заколачивал покинутый барак со всеми его тюфяками, сломанными кроватями, нечистотами и иногда с каким-нибудь одиноким мертвецом, которого все равно некуда было нести.

Он забивал гвоздь и говорил со странным выражением:

— До лучших дней...

— До лучших дней...— повторял за ним я".

Эти переполненные тоской слова героя рассказа мог бы повторить за ним и, вероятно, не один раз повторял Антон Григорьевич Ульянский — писатель с большим жизненным путем, отлично отраженным в его книгах и прерванным его преждевременной смертью, в Ленинграде летом 1935 года.

Молодой советский читатель не знает отталкивающей действительности мировой войны 1914—1918 гг., старый читатель понемногу забывает ее. Ульянский напоминает об этой действительности, художественно, то есть с необычной силой видения, показывая нам жуткое хозяйство империалистической войны. Лагерные бараки, подневольная работа у крестьян, побеги, поимки, крепость, утрата человеческого облика от истощения и отчаяния, отсутствие какой-либо цели в многолетней войне, мука вечной тоски о „лучших днях" — такова судьба пленного в рассказах Ульянского.

Это — трагичная книга. Трагизм ее, во-первых, в том, что она говорит о людях, против своей воли брошенных в мясорубку ненавистной и ненужной им войны и обреченных на гибель.

— „Женись на мне, — увещевает прапорщика больная проститутка, — тебе все равно. Тебя убьют, мне останется пенсия".

Это — книга о людях, которых убьют, которых „все равно убьют"...

Во-вторых, книга трагична тем, что она есть истинное выражение судьбы ее автора — человека, высшим и незабываемо-тяжким переживанием которого была война. Это — книга о том, как он, Ульянский, прошел войну и плен. Это — правда о плене, рассказанная жертвой плена.

Подобно Шеррифу, изобразившему в драме „Конец пути" обреченность фронтовика империалистов, подобно Ремарку, который обнажил бессмысленность человеческих боен, организуемых капитализмом, Ульянский открывает нам одну из самых страшных сторон прошлой войны — унижения и страдания плена.

Так же как эти пацифистские писатели, он исполнен ужаса и отвращения к войне и не знает, где надо искать выход из отчаяния, в которое она ввергла человечество.

Художественные средства Ульянского очень значительны и серьезны. Он интересный рассказчик, его язык прост, отбор слов обнаруживает незаурядность, строгость его литературного вкуса. Все это создает своеобразный стиль, без экзальтации и фальши, так странно напоминающий облик самого автора — скупого на слова, простого, изящного по душевным качествам.

Нельзя сказать, что Ульянский не дождался „лучших дней". В прошлом — офицер царской армии, он принадлежал к тем немногим людям из этой среды, которые отдали свои силы на службу новой родине. По его признанию, он „родился в тот день, когда из австрийского плена попал на советскую территорию". И еще: „Советская власть сделала меня человеком и писателем, и за это я ей буду служить до последнего вздоха".

Его литературный труд несомненно был такой преданной службой. Кроме примечательных книг рассказов, почти целиком посвященных излюбленной теме войны и плена, Ульянский написал фантастический роман и начал огромную работу по истории Кировского (Путиловского) завода. Часть этой работы опубликована под названием „В годы реакции" и свидетельствует об умении Ульянского работать оригинально даже в очень трудных условиях ограничения писателя рамками исторического материала.

Но историк русской советской литературы вспомнит Антона Ульянского, прежде всего как автора покоряющих искренностью и реализмом рассказов о плене и отдаст должное этому писателю в своей оценке художественной литературы, изображавшей эпоху мировой империалистической войны.

Конст. Федин.

ЧЕТЫРЕ НЕМЦА

1

В пятнадцатом году летом люди на фронте не задерживались. Иной полгода готовился, приучал нервы к потрясениям, а приехал и точно в очко присел сыграть, полчаса побыл, и нет его. И даже потрясающего ничего не увидел: какой-нибудь окоп N взвода N роты N полка, сажен в двадцать длиной, а перед ним дымок...

Начальник дивизии, в которую попал Криппе, был ученый генерал, — любил произносить речи перед прапорщиками. У генерала был пункт: укроп в супе. Когда в числе других приехал Криппе, генерал отвел прапорщиков в сторонку, сверкнул глазами, заговорил о России, о доблести, о седых знаменах, — с большим подъемом начал; затем — не уследить, каким путем — свернул все-таки на укроп.

— Укроп в супе — что такое? Пустяк! А от него суп вкуснее... Многие из вас будут ротными командирами, пусть почаще заглядывают в ротный котел, пусть помнят о пустяках. Солдат увидит, что командир о нем заботится, и на такого командира он иначе посмотрит. И вот уже нитка между вашими сердцами, залог взаимного понимания, общность чувства, основа воинской дисциплины...

И понемногу из укропа, на глазах прапорщиков, вырастала любовь, спайка офицера и солдата, беззаветная преданность, готовность итти на что угодно.

— И вот увидите, — вскричал генерал, доведя дело до высшей точки, — в решительный момент солдат вас не оставит:

половина — кой чорт половина! — три четверти за вами пойдут...

Прапорщиков это место речи смутило: какая половина, какие три четверти, когда полагается итти всем по первому слову и без всякого укропу? Спросить не посмели, но генерал и сам увидел, что им что-то непонятно.

— Потому что не все выдерживают, — сказал он глуше и точно по секрету. — Нельзя требовать: люди!

И посмотрел мимо глаз, как бы прося снисхождения, не по-генеральски, а как неглупый старикан, который кое до чего додумался. Тут кстати упал саженях в пятидесяти снаряд, для прапорщиков первый, они посмотрели с любопытством, генерал — с гримасой, встряхнулся, поднял брови, чтобы продолжать речь, сверкнул глазами.

Дальше опять пошла официальная часть: дисциплина, серые богатыри, связь, разведка... И между прочим было сказано:

— Теперь уже ни для кого не секрет, что апрель и май были для нас неудачны. Но сейчас дела поворачиваются к лучшему: предвидится наступление. Ваше дело, господа, помнить, что люди в окопах нужны немедленно...

В довоенных петербургских газетах на последней странице помещался отдел: „Сегодняшняя площадка". Здесь сообщались сведения о количестве скота, поступившего на городскую бойню. Быки делились по сортам — на черкасских и иных, мелкий рогатый скот давался круглым числом.

Во время войны среди штабных шутников было в ходу применять термин „сегодняшняя площадка" к эшелонам, отправляемым на фронт. Роль мелкого рогатого скота отводилась офицерам ускоренного курса, выпускаемым из военных училищ и школ прапорщиков. Эти школы работали в десятках городов, и каждая из них раз в три месяца давала площадку в 400 — 500 голов, которые отправлялись на фронт.

Около генерала в данный момент стояли представители различных площадок, уже пропущенные через мар-

шевые батальоны. Надо отметить, что своим видом они меньше всего напоминали быков, ведомых на убой. Убойное выражение появлялось у них позже.

Сейчас это были молодые улыбающиеся люди, с нерастраченной психологией ландскнехтов, в большинстве добровольцы, чрезвычайно заинтересованные тем, что их ожидало.

Четыре месяца назад они были штатскими людьми: студентами, конторщиками, тюремными чиновниками, вышибленными гимназистами, сельскими учителями, телеграфистами, землемерами, псаломщиками. От кадрового офицерства они отличались так же, как актеры-любители отличаются от профессионалов. За четыре месяца им дали очень немного военных знаний, но зато основательно приучили к мысли о собственной смерти. Они так свыклись с необходимостью провести свои биографии через какой-то решительный момент, что если б генерал вдруг объявил им, что они могут ехать домой, то наверное многие бы остались, чтобы все-таки испытать то, что им полагалось.

В саду бобовые цвели синими и розовыми незаметными цветочками. Бобовые стояли шпалерами по обеим сторонам дорожки. По дорожке ходил прапорщик Криппе.

Прапорщик Цебрик, юморист с красными глазками, свернув в ту же дорожку, задержался около Криппе, подмигнул в сторону генерала и весело объявил:

— Попали мы с вами как кур во щи...

Это был его вывод из генеральской речи.

— Как кур... — повторил он, трясясь от смеха, и сузил глазки, точно собирался заплакать. — Ей богу, как кур...

Криппе молчал. Вывод из генеральской речи был для него таким же, но разговоры тяготили его. Накануне смерти он дорожил временем. Ему хотелось смотреть на бобовые, а не на прапорщика Цебрика.

На краю сада, спустив ноги в канаву, сидели пленные чехи: три десятка папаш, бронзовых, обросших волосами. Они

курили трубки с ожесточением людей, желающих куревом перешибить голод. Часовые с любопытством смотрели на их бюргерские пивные трубки с кисточками и разрисованными фарфоровыми чашками. Молодой австрийский немец, с нашивкой пулеметчика на рукаве, лежал в сторонке и подозрительно вглядывался в своих бывших товарищей по армии.

Генерал, возвращаясь в штаб, остановился на крыльце и длительно посмотрел в сторону чехов. Это был благосклонный взгляд победителя, но в то же время и специалиста, который умеет оценить солдата со всех сторон. Наглядевшись, он повернул голову, чтобы поделиться с кем-нибудь наблюдениями, и тут ему на глаза попался прапорщик Криппе.

— Как вам это нравится, прапорщик? — ласково спросил генерал, двинув очками в сторону чехов.

На генеральские вопросы полагалось отвечать, во всяком случае шевельнуть каблуками, встрепенуться, переменить выражение лица. Но штатский человек Криппе стоял журавлем и молчал. Он размышлял: нравятся или не нравятся ему чехи? Его удивляло, что у него нет ответа на этот вопрос. Даже больше: он вообще не мог думать о чехах. Ни одна мысль о них не приходила ему в голову.

„Это оттого, — думал Криппе, — что сейчас я замечаю самое главное, только то, что может иметь отношение к моей судьбе. Хочу я или не хочу, но психика у меня работает по своим законам. Моя смерть — вот единственная вещь, которая меня сейчас интересует. Чехи не могут иметь ко мне отношения, потому что они уже вышли из игры, — поэтому-то я их и не замечаю".

Он отметил в их позах настороженность и в то же время тайное самодовольство людей, которым обеспечена жизнь. Один из них брил товарища походным способом, без кисточки, поливая мыльце водой из фляги.

„Они бреются, они собираются жить... — подумал Криппе с пренебрежением. — Как они вообще могли попасть в плен, если мы отступаем? Это уж последнее дело: мы бежим, а наши пленные бегут еще быстрее нас..."

Эти размышления заняли у Криппе очень немного вре-

мени, — его способность размышлять на фронте поднялась заметно для него самого, но все же генерал привык, чтобы ему отвечали скорее. Бессловесный невежливый прапорщик удивлял его.

— Я вам задал вопрос, прапорщик, — напомнил он сухо.— Я вас спросил, как вам нравятся наши чехи?

Он еще раз показал головой в сторону пленных. Он был высокого роста. Криппе увидел над собой его длинную полуседую бороду, его очки, которые блеснули при повороте. За очками были глаза, и в них Криппе различил недовольство.

— Мне, ваше превосходительство, они не нравятся, — ответил он чистосердечно. — Да и чему тут нравиться? Предел унижения сидеть вот так во вражеском штабе, а мимо ходят люди и смотрят на тебя как на каналью...

— Совершенно верно, — сказал генерал, снова делаясь благосклонным. — Плен — большое несчастие для солдата, который знает, за что он сражается. Я рад, что вы мыслите, как надлежит мыслить солдату. Но я имею в виду чехов. Они не хотят сражаться за австрийскую монархию. Они идут к нам. Вчера двадцать, сегодня тридцать, завтра может быть сотня. И если так будет продолжаться, что же получится: вражеская армия тает, она поражена изнутри, она небоеспособна...

Он жестами показал, как тает австрийская армия, и очень тонко улыбнулся своим предвиденьям, но штатский человек Криппе с откровенным удивлением смотрел на генерала, у которого в боевом балансе такую большую роль играли несколько сотен пленных чехов.

„Сначала был укроп, — весело подумал он, — теперь чехи. Если вся его программа такая, то...“

— Может быть австрийская армия станет только сильнее, если освободится от чехов, — сказал он неуверенно, но в это время перед крыльцом произошло движение, и генерал уже не слушал его.

Австрияк-пулеметчик неожиданно встал с земли и заговорил быстро и вызывающе. У него было фиолетовое меняющееся лицо. Похмелье плена через одиннадцать часов после

пленения ударило ему в голову. Благосклонный взгляд генерала в сторону чехов возбудил его. Он кивал на них головой, он отмежевывался от них, он давал понять, что он совершенно другой человек. Он показывал на свою нашивку, расставлял руки, точно держался за ручки пулемета, и кричал, что, если б не случайный заскок ленты, он бы показал этой сволочи, как сдаваться в плен. Окончив свой монолог, он снова лег на спину, задрал ногу на ногу и в первый момент даже заиграл ботинком, но затем колени его опустились, он сжался, присмирел. Похмелье кончилось.

— Я понял все, что он говорил, — сказал генерал, наблюдая его со снисходительной улыбкой. — Это бравый солдат. Сейчас он несчастен. Прапорщик, предложите ему папиросу...

2

Между штабом дивизии и окопами прапорщикам полагался небольшой антракт в полковом обозе. Прапорщик Цебрик имел в виду затянуть этот антракт до пределов приличия, пока не погонят.

— Хочу напоследок завести шмоньку с докторами. Курва буду, если их не обставлю.

Он фыркал и хорохорился. Он был кур и уже сидел во щах, он сам понимал это, но еще донашивал озорную шкуру, которую надел три недели назад, в тот день, когда его произвели в прапоры и выдали конверт с Р. 250 подъемных.

— Откуда вы знаете, что там есть доктора? — спросил Криппе. Его заинтересовало, почему он, Криппе, ничего не знает об обозах и докторах, а вот Цебрик, который тоже не был на фронте, уже успел узнать.

— В каждом обозе, — поучительно сказал Цебрик, — есть поп и два доктора. Кроме карт им ни черта делать. Особенно теперь: ведь мы отступаем и бросаем раненых...

— А зачем вам деньги? Предположим, вы выиграете. Но не все ли равно, как помирать: с деньгами или без денег?

— С деньгами шикарнее, — разъяснил Цебрик и посмотрел на него как на скучного человека. — Не знаю, как вы,

а я хочу умереть как следует, чтобы обо мне помнили. Иной прапор отдал подъемные жене на улучшение питания грудных детей, а сам с десяткой честно проследовал на фронт. Я не таков. Я все до рубля ухлопал, где надо. Я себе назначил такую программку, что если я вам ее расскажу, так вы может быть не захотите со мной итти...

— Я не такой строгий, — сказал Криппе. — Скажите вашу программку.

— Программка моя в двух частях. Часть первая: сорок баб, сорок фляг, сорок радужных бумаг. Эту часть я выполнял в Варшаве. Часть вторая: начадить, накостить, исхамить все на свете, хлопнуть дверью, сдохнуть. Эту часть я буду выполнять здесь...

Он начал как конферансье, но, излагая программу, воодушевился. Он выкрикивал ее как лозунги. Он был свеж и могуч, как и три недели назад, в свой первый день.

— И как, — спросил Криппе, — удалась первая часть?

Цебрик заерзал, сморщил нос, фыркнул влево, фыркнул вправо и не стал врать:

— Большой недобор. Не было времени. Если играешь в карты, то уж тут не до баб. Если начнешь пить, то нельзя играть в карты... Кроме того в самом начале один день ушел на женитьбу... — И добавил задушевно: — Вот если б дали еще денька четыре посидеть в Варшаве...

— Я не был в Варшаве, — сказал Криппе, которому вдруг стало жаль, что он не был в Варшаве. — Я ехал через Брест-Литовск...

— И это видно, что вы не были в Варшаве...

Проститутка в Варшаве посмотрела на коричневое Цебриково тело, придвинула для сравнения свой розовый оплывший бок и сказала задумчиво:

— Черная раса — белая раса...

— Черная раса? — восхитился Цебрик, присасываясь к женщине. — Я белый! Я белее тебя!

Он был и польщен и обижен. Польщен тем, что его загар приняли за природный арабский цвет. Обижен —

потому что женщина в самом деле вообразила, что перед ней дикарь. Еще две недели назад он был белокож. Он загорел в самое последнее время в маршевом батальоне, где, наскучив смотреть, как ратники выкидывают штык, он на целые дни смывался с занятий, переплывал Нарев и лежал на другом берегу, пока хватало папирос. Папиросы, пускаясь через реку, он клал на голову под фуражку. Гнев начальства не беспокоил его, потому что он все равно ехал на фронт.

Женщина была с ним нежна. За год войны она научилась различать тыловиков, привычно наслаждавшихся и скупо плативших, и таких вот дурашливых парнишек, которые ехали в окопы и напоследок торопились добрать свое. Она привыкла к их бредовым вспышкам, к тоскливому упорству их любви, когда человек, уже сытый, снова и снова спохватывается, словно боится упустить последнее.

Смуглая кожа Цебрика развлекала ее. Она гладила ее руками, спрашивала вкрадчиво:

— Пан есть калмык?

— Я калмык, — соглашался Цебрик разнеженно. — Люби меня.

И вдруг вскакивал, смотрел на часы. Может быть он напрасно теряет время? Может быть где-нибудь рядом играют в карты, пьют вино? А ему завтра ехать с эшелоном, и он ничего не успеет сделать. Недобор мучил его. Чего он достиг? — он играл в карты, но выиграл не сорок радужных бумаг, а только сто восемь рублей, вина ему досталась одна бутылка, купленная из-под полы. На женщин совершенно не оставалось времени. Женщина, у которой он находился, была всего лишь третьей.

Он ехал на войну, но в хлопотах так и не успел подумать: что же такое война? В школе прапорщиков он слышал от кого-то таинственный рассказ о старинной офицерской игре, которая называлась кукушкой: в темной комнате один человек бегал по стенке и орал

кукушкой, а другой стрелял в него на голос, — попал или не попал, — а потом бегал другой и стрелял тот, кто был кукушкой, и тоже: попал или не попал. Кукушка произвела на него впечатление, и пока что он подставлял ее в свое понятие о войне. Вся война представлялась ему как одна всеобщая кукушка: какие-то люди бегали, другие в них стреляли, а потом бегали эти и стреляли те... Зачем? для чего? — у него не было времени подумать об этом.

Он лежал на пуховиках голый, потный, гладил свое тело, фыркал беспокойно:

— Я калмык!..

И снова вскакивал, хватал гитару, пел:

В любви твоей, в твоих безумных ласках
Хотел я горе позабыть свое,
Любить тебя, как любят только в сказках...

Он заснул на рассвете, вконец измучив и себя и женщину. Все утро солнечные лучи играли на его коричневой коже, но он ничего не замечал, он лежал без дыханья, как труп.

Забегая вперед, скажем, что немецкий врач, который одиннадцать дней спустя втыкал ему в грудь шприц с противотифозной жидкостью, также отметил прекрасный цвет его кожи и подумал:

„Повидимому, номад...“

Спрашивать подробнее не стал. Это было бы бесполезно, даже через переводчика. Дело происходило в прифронтовом карантине для русских пленных, в отделении для тихих помешанных. Два человека держали Цебрика под руки. Цебрик не фыркал и не суетился. Он только поглядывал на всех с удивлением и как-то сбоку. Поскольку на нем были офицерские погоны, с ним канителились специально.

— Значит, недобор? — спросил Криппе.

— По всей линии, — кротко подтвердил Цебрик. — И уж

теперь его ничем не покроешь. Вина нет, женщины разбежались, шмонька — моя последняя надежда.

— Если говорить между товарищами, — сказал он потом, и Криппе заметил в нем нерешительность и некоторый конфуз, — то вчера в Глуске я сделал попытку дополнить Варшаву. Чорт знает что получилось...

Он не очень хотел рассказывать, что именно получилось из его попытки, но, начав, не выдержал, и Криппе услышал путаный рассказ о погоне за женщинами, которые исчезли из прифронтового городка, о немолодой польке, которая из человеколюбия согласилась пустить его на свое ложе, и о кровати, которая обрушилась, лишь только он захотел воспользоваться позволением. В конце было упоминание о том, как можно перепугаться после такого случая и сколько кварталов можно пробежать, пока немного придешь в себя.

Криппе нашел происшествие забавным и посмеялся. Его удивило только, что именно для этого забавного случая у юмориста Цебрика нехватало юмора. Он говорил с запинками, с умолчаниями, с суеверным страхом.

— Вы говорили, — вспомнил Криппе, — что перед отъездом женились. Как вы женились: с разрешения?

— Без.

— А как вы достали метрику?

— Выцыганил у писаря за три рубля, с возвратом через час. Девочка очень меня просила. И я тоже думал: надо хоть раз в жизни сделать доброе дело: меня убьют — ей пенсия.

Он полез в карман за бумажником.

— Вот ее портретик. Рожица милая, и зовут ее Милочкой. А главное — очень все было нетрудно: мне пальцем пошевелить, а для нее спасение.

— У меня, — сказал Криппе, разглядывая портретик, — было предложение в этом же роде. Но я подумал: стоит ли? Даны два дня для выезда из Петрограда, а тут мотайся за метриками, по церквям...

У Милочки лицо было милое, но пустоватое. Он сравнил ее с той, ради которой он не захотел пошевелить пальцем.

Та была совсем в другом роде: истасканная, очень измученная, очень живучая...

— Девочка погуливала, — сказал Цебрик, пряча портретик. — Могла совсем закатиться. Мне ее стало жаль. Я ее знаю с детства.

— Девочка погуливала? — переспросил Криппе. — Удивительно, как все совпадает. И моя девочка тоже погуливала...

Вернее: кончила гулять, заразилась, выбыла из строя, уползла в норку, в угол на кухоньку, на Обводный канал. Там жила на гроши, замазывая мазью сыпь на лице. Но именно там у ней появились книжки, программа народного университета, даже таблица логарифмов, с которой она мучилась, не зная начатков алгебры. Криппе, вызванный письмом с просьбой о трех рублях, побывал у нее и убедился, что она все-таки осиливает логарифмы и что в этом деле замешан какой-то ее товарищ по группе. Она влюблена в этого товарища, а он ставит о ней на группе вопрос: „Зачем ходят сюда проститутки?“ Когда она рассказывала об этом, ее измызганное лицо сделалось красивым. Логарифмы были для нее орудием борьбы.

Трех рублей он ей не дал, потому что был солдатом и сам ничего не имел, но в день производства он ей завез двадцать пять рублей. Он сидел с чувством доброго человека (на самом деле он был в прибыли: сделав доброе дело, он решил не платить никаких долгов своим знакомым) и очень удивился и даже обиделся, когда от него потребовали доброты немного больше, чем на двадцать пять рублей.

— Женись на мне! — попросила она. — Тебе все равно. Тебя убьют, мне останется пенсия...

Он не сразу понял, подумал, посмотрел на ее фиолетовое, испачканное мазью лицо, вспомнил о двух последних днях, которые должны будут пропасть из-за нее, и возмутился:

— Такие браки бывают, — сказал он уклончиво, —

но это делается не так просто. Заранее запасают документы, сговариваются со священником. Теперь уже поздно. Документы отправлены в батальон.

Но она не верила ему, она видела только, что он не хочет, и доказывала грустно и монотонно:

— Как ты не понимаешь: тебя убьют, тебе все равно...

Он молчал. Возражать было нечего. Можно было только курить, пускать дым, смотреть мимо глаз, по возможности улыбаться. И чем чаще она повторяла ему, что его убьют, тем веселее он смотрел на нее.

Наконец ему надоело. Он встал.

— Совсем не требуется так часто повторять, что меня убьют...

На лестнице он еще раз удивился, пожал плечами.

Над деревней показался аэроплан, повидимому немецкий, потому что около него сейчас же стали появляться разрывы. Криппе и Цебрик застыли на месте. Поскольку аэроплан был над головой, обоим стало нудно. И тут Цебрик допустил вольность: он вдруг засунул руку под шинель Криппе и пощупал его сердце:

— А ну: бьется сердчишко?

И так как сердчишко действительно билось, Криппе рассердился и резко отодвинулся.

— Без фамильярностей, прапорщик. А то нарветесь на тютю.

— Чего вы сердитесь? — не понял Цебрик. — Я сам не люблю немецких аэропланов. Я только хотел проверить: один я струсил или и вы тоже?

Он снова был простодушен, но дружба, которая началась у них по дороге, после этого эпизода ослабла. Криппе не мог забыть его красного лица и остреньких плотоядных глаз в тот момент, когда он щупал его сердце.

— Мы пришли, — сказал Криппе, жалея, что дорога кончилась. Кругом были хаты, коновязи, повозки, тюки — все бесцветное, зеленоватое, правильно расставленное. Среди повозок, около денежного ящика и палки с чехлом стоял часовой.

— Рекомендую, — фыркнул Цебрик: — наши седые знамена...

Он вскоре исчез. После справок, в одной из хат действительно были обнаружены поп и два доктора, которые играли в карты. Цебрик ввалился к ним с гоготом. Эта тесная компания, перевидавшая сотни прапоров, которые с гоготом и без гогота вваливались к ним, а потом навсегда исчезали, встретила его сдержанно. Цебрик победил их чистосердечием. Он сказал почти с мольбою:

— Разрешите сыграть перед смертью...

И был допущен в игру — сначала в преферанс. Он решил претерпеть эту многочасовую канитель, чтобы подождать народ и в свое время перевести их на шмоньку...

3

Полковое знамя имело глубоко обозный вид. Криппе знал, что романтика знамен в окопной войне похерена, но все-таки не ожидал такой скудости. Он сидел среди повозок, смотрел на знамя. Он отдыхал, размышлял, но в сущности отсиживался, отдаляя момент явки к полковнику. Тема для размышлений: что такое знамя? Что такое знамя в действии? Какие знамена он вообще видел в своей жизни?

Красное знамя. Криппе впервые увидел его в ноябре 1904 г. на задворках Финляндской дороги, у пакгауза, откуда отправляют гробы с покойниками на Успенское кладбище. Несколько десятков студентов и курсисток пришли проводить товарища, повесившегося в Крестах. Когда вагон с телом отошел, они спели похоронный марш, а потом пошли со знаменем по мостовой с направлением на Литейный мост.

Знамя было в середине толпы. Его несла маленькая веснущатая курсистка. Было видно, что право нести знамя досталось ей после борьбы. Всю дорогу она строптиво оглядывалась на подругу, которая тоже протягивала руку к древку и что-то обиженно говорила. Криппе не слышал их слов, но видел, что они обе едва не плакали. Их спор о праве нести знамя был в то же время спором о праве быть изби-

той в первую очередь, поскольку навстречу уже двигались конные полицейские.

Лошади полиции были прекрасно вымуштрованы. Они приближались цирковым шагом, по пять шагов, разом застывали, разом трогали дальше. Когда они подъехали совсем близко, девушка от напряжения стала такой красной, что уже нельзя было различить веснушек на ее лице.

> Возможно, уходя на демонстрацию, она оставила записку для матери: „Милая мама, не сердись, что меня убили, так было надо". Многие девушки писали тогда такие записки. Незадолго перед этим были крупные избиения студентов, и записки имели смысл.

На этот раз записка не пригодилась. Пристав оглядел демонстрацию, отъехал к боку и надрывным, измученным голосом прокричал:

— Господа студенты, что же это такое? Уж если устраивать демонстрации, так настоящие. А вы посмотрите: сколько вас — раз, два, и обчелся. Я могу вас всех оцепить и отправить в участок. Сколько хлопот и нам и вам. Кому это нужно, господа студенты?

Он посмотрел на Криппе, который после изгнания из гимназии еще донашивал пальто со светлыми пуговицами, и сказал:

— И уж совсем не дело водить с собой учеников средних учебных заведений. Идите на уроки, молодой человек.

Получалась затяжная, ничуть не геройская история, которая могла кончиться только ненужными арестами. Мужская рука через плечо Криппе протянулась к знамени и сорвала полотнище, которое сейчас же пошло по рукам и исчезло в чьем-то кармане. Девушка осталась с одним древком. Его надо было бросить на землю, но она как-то не решалась. Та же рука пригнула древко и оттянула его к себе. Полиция стояла неподвижно.

Белое и малиновое. Из всех знамен, промелькнувших в октябре пятого года на Невском проспекте, пожалуй, самым шикарным было огромное знамя белое с малиновым. Оно

выплывало издалека, оно блистало шитьем, оно забивало импровизированные красные знамена, когда человек привязывает за углы обыкновенный красный платок к обыкновенной палке. Казалось, только оно одно существует, но не многие знали, что оно обозначает.

— Что это за знамя? — спросил Криппе у соседей.

Двое ближайших соседей не могли ответить. Третий, студент, сказал:

— Это наше знамя.

Он говорил нехотя, он словно просил не мешать ему смотреть навстречу белому и малиновому.

— Чье: ваше?

— Польского королевства.

Криппе был непонятлив.

— Разве есть такое польское королевство?

— Его нет, но оно было и оно будет.

Студент словно встал на дыбы. И это было неожиданно.

Рваное знамя. Оно принадлежало какому-то из гвардейских петербургских полков. Криппе увидел его, попав однажды к Зимнему дворцу в момент смены караула. Картина была внушительная. Гвардейцы подошли стеной, музыка флейт и барабанов оглушала, рваное полковое знамя было свидетелем бородинского боя.

Потом знамя отделилось, его понесли в среднюю дверь по отлогому каретному взъезду. Знаменщик и ассистенты шли, не мигая. Офицер плыл, бледный, закинув голову, и, хотя он не доводил руку до козырька, она держалась в воздухе, как окаменелая. На мгновенье он скользнул глазами по зрителям: внизу у колонн стоял Криппе и еще двое, в шапках, с руками в карманах. Мгновенное бешенство появилось в его глазах. Рука, застывшая в воздухе, чуть опустилась: не перестрелять ли на месте шпаков, которые не снимают шапок перед его знаменем? Но через секунду рука приняла прежнее положение: стрелять не полагается, стрелять глупо, этим ничего не докажешь. Кроме того лица у шпаков скорее почтительные, а в шапках они потому, что штатские люди не обязаны снимать шапок при виде знамени. Знамя исчезает в две-

рях. Шпаки, очень заинтересованные церемонией, некоторое время ждут продолжения, потом расходятся.

Розовое знамя. И еще одно знамя вспомнил Криппе, но это уже было условное знамя, театральный реквизит—розовый шарф, поднятый на вытянутых руках над головой танцовщицы. С этим шарфом Айседора Дункан исполняла военный марш Берлиоза. Неопределенная воинственность разливалась от этого розового шарфа, подчиняла зал. Война представлялась как женщина с жутким лицом и гордой поступью, но это все-таки была женщина. Люди с впалой грудью расправляли плечи, руки, никогда не державшие оружия, неуверенно шарили около пояса, примериваясь, справа или слева должна быть шпага. Им хотелось маршировать, куда-то итти с мужественными лицами, с гордой осанкой. Их воинственность дальше этого не шла, ее было недостаточно для того, чтобы зритель вдруг встал и записался добровольцем в армию, но вполне хватало на то, чтобы он вынул кошелек и пожертвовал рубль в пользу раненых.

Знамя N пехотного полка. Около этого знамени Криппе сидел сейчас. Оно выглядело уныло, и, пожалуй, никакой Берлиоз, никакая Айседора Дункан не сумели бы оживить этот серый чехол на конце невысокой палки. Это было знамя отступления. Оно последним подвигалось вперед, когда полк наступал, оно первым отходило назад. Около него всегда стоял наготове возок, чтобы в любой момент погрузить ящик и знамя и мчать их дальше.

4

Фуражку, когда представляешься полковнику, надо держать в левой руке, околышем вверх, козырьком внутрь, чтобы большой палец приходился поверх кокарды. Между пальцем и кокардой должна лежать перчатка с правой руки, заранее снятая. Криппе, входя в блиндаж, позаботился, чтобы все было как следует.

— Господин полковник! Прапорщик Криппе — представляюсь по случаю назначения во вверенный вам полк...

Полковник — за год войны десятый командир полка — заметно не кадровый: суетлив, ироничен, мысли скачут.

— Рад новому человеку. Но должен вас заранее предупредить: тут вам не турецкий фронт. Как ехали? Почему просвет на погонах малиновый? Разве вы в стрелковой части? Впрочем, цвет не имеет значения. Угощайтесь.

Поставил на стол полупудовую жестянку монпансье. У Криппе ушла в жестянку вся рука, пока он до чего-то добрался.

— Гедеон, — засмеялся полковник, — водил израильтян к ручью воду пить. А я господ офицеров на монпансье испытываю. Я смотрю, как ты у меня конфетку возьмешь.

Лицо полковника в блиндажной полутьме неразборчиво, но по голосу Криппе уловил: не выдержал он гедеонова испытания, как-то по-другому надо было брать.

„Плевать...“ — подумал он.

Пососали монпансье, помолчали, перешли к делу.

— Откуда?

— Из Петрограда.

— С маршевой ротой?

— Так точно.

— Герои?

— Так точно.

Криппе поддакивал, не думая худого. А полковнику вдруг не понравилось:

— Что вы мне там о героях? Какие там еще герои? Знаю я этих героев: их без палки с места не сдвинешь.

И засмеялся, заметив, что новичок слегка ошарашен.

— Бородачи? На баб похожи?

— Есть немного.

— Песни-то хоть петь умеют?

— Умеют.

— А какие песни?

— До Вильны пели „Чубариков“ и что придется, а после Вильны перешли на духовное: „Отче наш“, „Со святыми упокой“...

— Так, так, — усмехнулся полковник с понимающим видом. — По станциям перед образами свечки ставили?

— Ставили.

— Так и есть! — окончательно рассердился полковник.—Готовятся приять праведную кончину. На кой они мне чорт: умереть всякий сукин сын сумеет, ты сумей убить... Стрельбу проходили?

— Не кончили.

Криппе думал, что полковнику это никак не может понравиться, но как раз к этому он отнесся легко.

— Не кончили и не надо. К чему стрельба, когда нет патронов? Патронов-то ведь нет.

Подчеркнул и прищурился на Криппе, словно спрашивал: „Как это тебе, молодой человек, понравится? Ты думал, они есть, а их нету"...

Странный тон, даже злорадный, Криппе не знал, как ему реагировать. „На фронте, — подумал он, — могут себе позволить"...

— Конечно, — сказал он уклончиво, — теперь уже не секрет, что апрель и май были для нас неудачны. Но ведь сейчас дела поворачиваются к лучшему?

— Как же, — фыркнул полковник. — Поворачиваются они. Держи карман. Суворовские времена вернулись: на штыке выезжаем — ни снарядов, ни патронов, ни даже укропу...

На укропе опять сделал нажим и посмотрел на Криппе: понял ли он, в чем дело. Криппе понял, но не подал виду.

Орудийный аккомпанемент у полковника несравненно гуще, чем в дивизии. Блиндаж под откосом, однако постукивало почти в дверь. Окопные разрывы доходили к полковнику мелким дверным дребезгом. При разрывах вблизи дверь рвалась с петель. В таких случаях полковник замерзал на полуслове, смотрел в землю и был похож на человека, который мысленно считает до десяти. Затем он говорил какую-нибудь фразу не в счет:

— Да-с, это вам не турецкий фронт!..

Или, с оглядкой на потолочные балки:

— Одна надежда: умными людьми строено...

И продолжал разговор в той же интонации, на которой остановился.

— Евреи разлагают армию, — сказал полковник. — Вся эта нация мыслит шпионски. Я их понимаю: на кой им чорт наше русское государство. Им у Вильгельма лучше. Ладно, иди в плен сам, — туда тебе и дорога, — но не тащи за собой русских...

— А разве тащат?

— Конечно. Наш русский солдат сам и не догадается, что есть какой-то плен... — Полковник пошевелил бумаги на столе. — Этим делом уже заинтересовались. Есть приказ: подвести итоги за первый год войны. Сколько человек прошло через полк, — какой процент евреев, сколько человек за этот же период пропало без вести — какой процент евреев? Когда мы этот процент подсчитаем, мы ударим по этой публике, как следует...

— К сожалению, — продолжал он, — точных цифр тут не может быть. Если мы отступаем, мы можем подсчитать только то, что осталось от полка, а все остальное, — живое и мертвое, — уже за чертой, у немцев. Тут собственно немцы должны бы вести статистику...

— В газетах, — сказал Криппе, — я читал о евреях другие отзывы. Пишут, что это такие же солдаты, как и все. Так же воюют и так же получают георгиев.

— Мало ли что пишут в газетах! — рассердился полковник. — В газетах пишут, что наши солдаты все сплошь чудо-богатыри, а я уже вам говорил: я с этими чудо-богатырями без палки не разговариваю. В газетах пишут, что Вильгельм дурак, а наши полководцы все семи пядей. На самом же деле: Вильгельм умница, а, например, Ренненкампф — дурак. Хорошо еще, что мы не в его армии...

К Ренненкампфу у полковника была неприязнь еще со времен японской войны. О Ренненкампфе он завел довольно длинный рассказ. Как этот генерал однажды мыл руки во дворе над тазом вдали от битв, как мимо штаба пролетел шальной снаряд и как генерал вдруг объявил себя раненым, перевязал правую руку, поехал в отпуск и всюду выступал как герой. Когда правая рука уставала висеть, он подвязывал левую — поди проверь генерала.

— Вы лучше скажите, что пишут в газетах про общую ситуацию? Мы тут видим только свой кусочек, какие-нибудь четыре версты. Мы на фронте, но ничего не знаем о фронте. А там как раз происходят события: новые державы вступают в войну, падают крепости, тонут корабли... Подсчитано ли уже, сколько народу погибло на „Лузитании“? Как реагирует Англия на подводную войну? Как она вообще раскачивается?

Криппе не мог рассказать ничего особенного. О „Лузитании“ он запомнил только, что на этом пароходе погиб автор пьесы „Поташ и Перламутр“ (в Петрограде в кафе видел его портрет в английском журнале), а об Англии и том, как она раскачивается, ему захотелось повторить один игривый разговор с приятелем в Петрограде...

В самый день отъезда он встретил на улице Геймана, бывшего друга.

— Едешь колотить немцев? — спросил Гейман, оглядев его походную форму.

— Еду колотить немцев, — ответил Криппе твердо. Против Геймана, тон которого был ироничен, он защищался тем, что повторял его же фразы, но придавал им дубовый смысл.

— А похоже, что немцы тебя поколотят?

— Пусть немцы меня колотят.

— Хочешь быть солдатом разбитой армии?

— Хочу быть солдатом разбитой армии.

— Будешь отступать до Урала?

— Буду отступать до Урала.

— А потом назад?

— Назад.

— До последнего солдата?

— До самого последнего.

— Значит, ты считаешь, что в конце концов ты побьешь Германию?

— Побью. Потому что Германии не выстоять против всего света.

— Значит, ты надеешься не на себя, а на Англию...

— Я надеюсь и на себя и на Англию...

— ... которая, — скороговоркой добавил Гейман, — тоже решила бороться до последнего русского солдата...

— Да, которая тоже... — повторил Криппе, но, заметив подвох, расхохотался. — Ты это сам придумал? — спросил он восхищенно.

— Нет. Где мне. Это все говорят...

Этой фразой можно было бы по гроб жизни осчастливить полковника, закисшего в своем блиндаже (он даже по нужде не выходил наружу), но этой же фразой можно было поставить себя в разряд шпионски мыслящих личностей. Криппе воздержался.

— Куда мне вас девать? — задумался полковник, когда зашла речь о назначении Криппе в роту. — Затрудняюсь пока решить. До вас прапорщик Добряков представлялся: борода, голос зычный, приказать может, — из сельских учителей, а солдаты те же дети, — я ему сполуслова: роту на законном основании. А вот затрудняюсь. Разглядел я вас: бритый, жиденький, из студентов. Там, где надо палкой по башке, вы будете извиняться: „Пожалуйста, мол, очень вас прошу — в атаку! Конечно, если это вас не затруднит...

Криппе молчал, втайне довольный, что ему не дадут роты.

— Вам бы историю полка писать, — вспомнил вдруг полковник, — вот где вы были бы на месте. Но уже есть у меня два историографа, сидят в обозе...

И по поводу историографов допустил такую улыбку, что Криппе обиделся:

— Я, господин полковник, ехал на фронт не специально в обоз...

— Ладно, ладно, — засмеялся полковник. — Для вас же лучше, если вас не сразу в окопы гонят. Погуляйте пока. Найдите себе блиндажик. Посидите, подумайте...

5

В час ночи прапорщику Цебрику стало страшно: так могло везти только перед смертью. Пачка трехрублевок, выигранная им, неожиданно обессмыслилась.

Он заметил, что один из партнеров, какой-то перевязанный до пределов офицер, пустил в игру протертую бумажку. В другое время он сделал бы замечание, но сейчас ему было не до этого. Все бумажки, и новенькие и рваненькие, тускнели на его глазах, превращались в дым, в детские переводные картинки. Он не знал, что с ними делать. Он стал рассеян, оставил очередной выигрыш на карте, а когда перевязанный партнер следующим ударом сгреб его себе, он тупо посмотрел на него. Проигрыш тоже не доставил ему удовольствия.

Он сбегал на двор, мельком посмотрел картину ночного фронта. По горизонту в разных местах горели деревни, подожженные снарядами. Пламя в темноте было чистым и ярким. Линия окопов вспыхивала ракетками. Он взглянул в ту сторону, где канонада, уже засыпающая, работала в темпе двух кузнечных молотов, и сказал, по привычке кому-то подмигивая:

— Работает кукушечка!..

Он схватился за голову, вздрогнул, побежал к партнерам. Он все еще был веселый кур, попавший во щи, но у этого кура перья сами собой начинали становиться дыбом.

Старший врач напевал мотив: „А счастье было так возможно, так близко"... Все знали, что это относится к его утренней неудаче, о которой он уже рассказывал всем достаточно. Во время его дежурства на перевязочном пункте мимо его левой ноги пролетел осколок гранаты и не задел ее. Это был небольшой осколок, совсем на излете. Если б он летел сантиметром левей, доктор был бы сейчас счастливейший человек: легкая рана, эвакуация, отпуск, боевые отличия, повышение по службе. Он больше бы не сидел по сараям, в полковом обозе, он вернулся бы на фронт дивизионным врачем или еще выше. И все это не состоялось. Теперь когда

еще дождешься другого осколочка, который бы так же грациозно подлетел к ноге. А пока будешь ждать, налетит другой осколочек и кокнет тебя в голову.

Поп был в явной зависимости от докторов из-за спирта. Его припев во время игры касался спирта. Он напоминал, что пора уже выписать ему спирт. Он выражал надежду, что, конечно, доктора выпишут ему спирт. Он дерзко требовал: когда же, наконец, ему выпишут спирт?

Он был не поп, а попик: маленький, сероволосый, в серой рясе. У него было два лица: страдальческое, пока он молчал, и собачье, когда он говорил. Голос имел тихий, но мог и рычать.

— Насчет спирта, батя, — канителил его младший врач, — есть предписание: выписывать вам спирт, только когда вы работаете...

— Я работал, — зудил поп. — Я ходил в резерв, служил молебен, проповедь говорил...

— Слышал я ваш молебен, — подзуживал старший. — Весь молебен казанской божьей матери вы отгрохали в четыре с половиной минуты. Я по часам смотрел. А вашу проповедь я могу повторить целиком: „Вот, что, ребята: седьмая рота покрыла себя позором. За это в будущей жизни им не будет царства небесного, а в этой жизни их семьям не дадут пособия. Так что имейте в виду“. И чего вы торопились: ведь сегодня на резерв не упало ни одного снаряда?

— Повоюйте с мое, — огрызался поп, — тогда и вы будете торопиться. Вы сколько времени в полку: кто месяц, кто три. А я с полком вторую войну ломаю. Вы для меня проходящие люди. Из того кадра, что выступил по первой мобилизации из Перми, сейчас во всем полку остались я да фельдфебель знаменного взвода. Всех повышибало. Должен притти мой черед? Должен. Должен я себя сохранять? Должен. А если я сегодня богородице не докадил, так солдат меня поймет: ему самому веселей в блиндаже сидеть, чем стоять снаружи...

— А каким это позором покрыла себя седьмая рота? — вдруг спросил Цебрик.

— А я почем знаю? Мне полковник сказал так говорить, я и говорю.

— Но все-таки? — настаивал Цебрик. — Мне любопытно; что за позор?

— Обыкновенный... — вмешался старший врач, морщась.— Не стоит об этом...

Перевязанный офицер играл молча и не меняя выражения лица — бинты мешали ему. Он умел играть. Докторские трехрублевки, побывав у Цебрика, постепенно скоплялись у него. „Насквозь изранен человек, — восхищался Цебрик, — а загибает не плохо"...

Четыре денщика по числу четырех владык стояли у дверей, готовые в любой момент переменить стаканы с чаем. Владыки распоряжались движением бровей, мыком и сипом. Денщики хотели спать, они оседали на ногах, им было скучно, но страх не угодить, страх быть отправленным в роту, т. е. в окопы, взбадривал их. Это были люди с установкой на то, чтобы оставаться в живых. Цебрик таких людей даже не понимал. „Вот чудаки, — думал он. — До последнего издыхания будут выносить горшки. И все равно сдохнут".

Владыки были неодинаковые. Младший врач, свежий человек, тяготился присутствием ненужных людей. Он заметил старшему в тоне вопроса:

— По-моему достаточно одного? Остальные пусть идут спать.

Старший, более привычный, ответил, не отрываясь от карт:

— Пусть служат. Они и так ни черта не делают. Мой Сапежко совершенно развинтился. Почему сегодня мяса не достал?

В голосе были предостерегающие нотки, и Цебрик заметил, что один из четырех денщиков переменился в лице.

В три часа ночи Цебрик, освободившись от большей части выигрыша, почувствовал, что пришла пора хлопнуть дверью. Для начала он загоготал и рассказал партнерам историю своей самой последней женщины. Он ввел в рассказ вариант: женщина на этот раз была молодая, он украл ее изпод носа у коменданта города, который приехал за ней в эки-

паже. Эпизод с кроватью вызвал восторг. Перевязанный офицер так захохотал, что у него лопнул чирей на шее, — все его повязки прикрывали именно этот чирей. Денщики смеялись в кулак, — открыто участвовать в офицерском веселье они не имели права.

В три тридцать Цебрик, спустив бессмысленным ходом все последки, встал из-за стола, подошел к попу, подставил ладошки и наклонил голову:

— Благословите, батюшка.

Поп, не выпуская карт из левой руки, придержал ею рукав на правой, благословил, дал поцеловать руку и уже потом удивился:

— Что это вам приспичило?

— От не-хрен делать, батюшка, — кротко сказал Цебрик, поправляя перед уходом ремни и шашку. — Исключительно от не-хрен делать...

В первый момент ему стало жаль попа. Поп поглядел на Цебрика страдальческими глазами, убито опустил голову. Потом он встал, бросил карты и заговорил по-собачьи и кляузно:

— Богохульствуете, молодой человек? Оскорбляете религию в присутствии нижних чинов? Я на вас подам рапорт полковому командиру...

Старший врач, кусая губы, оглянулся на денщиков и показал, чтобы они вышли. Денщики выскочили и в сенях громыхнули хохотом.

— Это Сапежко смеялся? — прислушался поп. — До чего разврат. Это я тоже упомяну в рапорте.

— А копию пошлите в святейший синод, — ласково посоветовал Цебрик, возясь с полевой сумкой и биноклем.

— Вы легче, прапорщик, — вступился перевязанный офицер. — Первый день в полку, и уже такие штуки. За это, знаете, что бывает?

— Хуже плохого не бывает, господин поручик, — сказал Цебрик довольно миролюбиво, но, поскольку в его руках был бинокль, он посмотрел на поручика в бинокль. — Кстати, насчет чирьев, поручик. Поганая вещь — чирьи. Я думал, что

хоть на фронте их не бывает, я думал, тут только раненые и контуженные, а оказывается, и тут они водятся.

Напоследок он перевел бинокль на докторов.

— Образованные люди! — сказал он, качая головой, как старый учитель. — Образованные люди! Стыдно смотреть, до чего вы довели своих холуев. Я всего пять классов кончил, я вольнопер второго разряда, я офицером стал только благодаря войне, — про таких, как я, говорят: из грязи да в князи,— но я своего холуя буду не так держать, я ему не каждый день буду тыкать: служи, каналья, а то пойдешь в окопы...

Он отступал к дверям задом, точно ждал нападения. Хлопнуть дверью в буквальном смысле слова не пришлось, потому что дверь была сарайная. В дверях он еще раз покачал головой и исчез.

— Это нам урок, — сказал старший врач, снова садясь за стол. — Вперед надо знать, кого принимаешь в компанию. Лезет всякое хамье, прикидывается простачком...

Цебрик шел, натыкаясь на повозки, ругался, спрашивал у часовых:

— Где тут команда связи? Дайте мне провожатого. Прапорщик Цебрик срочно идет представляться полковому командиру...

6

Особого наступления не предвиделось, но имелось в виду на участке шестой роты вернуть окопы по ту сторону майдана, брошенные третьего дня. На рассвете адъютант штаба дивизии явился на полковой наблюдательный пункт, чтобы руководить этим делом. Он залег над телефонной ямой и завел переговоры с дивизией и батареей. Он полагал, что артиллерия напрасно тратит снаряды на беспорядочную стрельбу. Он рекомендовал прекратить стрельбу, он захотел сэкономить 30—40 снарядов, чтобы в решительный момент сосредоточить огонь на майдане. Ему показалось даже, что артиллерия плохо пристрелялась и задевает наши собственные окопы.

Для проверки этого обстоятельства ему понадобился чело-

век в офицерском чине, чтобы послать его в окопы как наблюдателя. Полковник при этом случае вспомнил, что у него где-то есть прапорщик — бритый, жиденький, из студентов,— малопригодный для роли командира, но способный выполнять поручения. Криппе, отлеживавшийся в пустом блиндажике, был разыскан, потревожен за ногу и препровожден к адъютанту. Адъютант сказал:

— Ваша фамилия Криппе? Вам придется сходить в окопы.

Криппе посмотрел вперед и по-штатски заметил, что итти под снарядами очень трудно, можно не дойти, что вообще в окопы ходят ночью. Но адъютант, не возражая по существу, вежливо показал ему дорогу:

— Вот этим логом ближе всего. Вы еще успеете добежать, пока немцы пьют кофе.

Криппе быстро пошел, поглядывая на разрывы. Фразу насчет кофе он понял буквально, хотя это был только оборот речи для обозначения моментов, когда немецкая канонада почему-то снижала темп. Он не сразу нашел ход сообщения и некоторое время путался на поверхности около задней проволоки, но немцы пили кофе, и он остался жив.

Он спустился в ход сообщения, очень довольный тем, что остался жив. Он вошел в окоп свеженький, возбужденный, с улыбкой и встретил красные лица и тупые глаза людей, измотанных многодневным бездельным сидением под немецким огнем. Немного удивленный, с чувством превосходства, он прошел в открытый окоп к разведчикам, которые могли бы сказать, куда падали снаряды, интересовавшие адъютанта. Он стоял в канаве, не сгибаясь, полагая, что так будет шикарнее. Его пугнули ружейным выстрелом, он пригнулся, потом присел, потом поторопился выбраться из канавы совсем и перейти в окоп, где были бруствер и потолок. Через полчаса от его первоначальной улыбки ничего не осталось, он был такой же больной, пучеглазый человек, как и все кругом, и никакие силы не выгнали бы его на ту самую поверхность, на которой он полчаса назад не торопясь обхаживал проволоку. И все это произошло потому, что немцы кончили пить кофе и возобновили настоящую канонаду на убой и вдребезг.

„Чтобы убить одного солдата, надо выпустить девяносто пудов чугуна и стали. Таковы итоги японской войны, когда общий вес всех выпущенных снарядов разделили на общее число убитых. Убивает солдата, собственно говоря, осколок в 100—200 граммов. Остальное идет на пристрелку, падает спереди, сзади окопа, ударяется о бруствер, распадается на тысячи кусков, производя лишь моральный эффект. Статистика германской войны еще не подведена, но есть основания думать, что, при теперешней легкости изготовления снарядов, металла на одного человека тратится во много раз больше".

Курсовой офицер приводил эту статистику и делал вывод:

— Запомните эту пропорцию и не думайте, что каждый снаряд для вас смертелен. Не бойтесь снарядов...

Курсовой офицер, сам не бывший на войне, делал лишь ту ошибку, что слишком мало места отводил моральному эффекту. В окопах он убедился бы, что ни один фунт из девяноста пудов не падает даром.

Чему вообще учил курсовой офицер будущих прапорщиков? Он избегал говорить о причинах и целях войны, — пусть этим занимаются дипломаты, но он учил слушателей прежде всего уважать военное звание, он прививал им претензию считать себя военными людьми: не будь козерогом, смотри людям в глаза, отдай честь как следует, умей подчиняться, умей командовать, будь требователен, но справедлив, презирай писарей, иди в окопы. Он говорил и о плене. Он однажды помянул это слово, но при этом вынул наган и показал, что стреляет себе в рот. На глазах у него были слезы.

Даже об отношении к женщинам он не забыл в своих наставлениях:

— Женщину военный человек берет не нахальством, но прямотой. Вот почему испокон веков женщины любят военных...

Будущий ротный или полуротный командир три с половиной месяца ходил с песнями по улицам, прыгал че-

рез препятствия, выкидывал штык, учил устав (кто кого на сколько суток и каким арестом может посадить). Раза два ходили на стрельбу, раз ходили в примерный поход, выставляя охранение и цепочки, раз стреляли из наганов (некоторые, нажимая курок, закрывали глаза). Пулемет слушали только издали, пулемет не входил в курс (тетушка Криппе возмущалась: „Но ведь это же чорт знает что! Ведь это значит, что ты, захватив пулемет, не сумеешь повернуть его против врага“).

А если кто-нибудь во взводе задумывался, что все-таки этих знаний для будущего ротного командира маловато, то взводный из вольноперов, побывавших на войне, говорил:

— На войне все это ни к чему. На войне надо, чтобы котелок варил. Варит котелок, сам поймешь, что надо делать. Не варит — ни черта из тебя не выйдет: только погибнешь и людей погубишь...

У Криппе котелок не варил. Котелок стал тесен, как западня. В окопах Криппе впервые обнаружил, что у него есть темя. Темя давало себя знать каждый раз, когда поблизости падал снаряд. Такой снаряд угадывался налету. У Криппе захватывало дыхание, вся кровь уходила в голову, несколько секунд он чувствовал неудобство от того, что мозг не помещался под теменем. Потом снаряд разрывался, дыхание выравнивалось.

Еще час назад Криппе думал, что раненого человека надо жалеть. Его удивляло, что жалость не получалась. Вот человек бросает винтовку, орет: „я ранен“, и если это только рука или нога, или какое-нибудь там бедро, то, кроме зависти, такой человек ничего не вызывает. Теперь его судьба ясна: он свернется где-нибудь у входа, ему не о чем думать, его дело ждать вечера и, если до вечера его не прихлопнет новым снарядом, его отнесут на перевязочный пункт. Он сам понимает, что по сравнению с другими у него есть шанс, что ему завидуют, и, словно оправдываясь, раскрывает рану и показывает:

— Я ранен. Ей богу, ранен...

И сам смотрит на кровь: а вдруг кровь пропала и никакой раны нет...

Вот человека убило и завалило землей. При проходе в восьмую роту приходится шагать через него, задевать. Как неудобно лежит человек.

„Обязан я его жалеть? — спрашивает себя Криппе. — Ничуть не обязан. Пусть его жалеют зрители в кино, когда его покажут на экране, а мы с ним в равных условиях...“

Окопные разговоры сбивчивые, не на тему, вполслуха: чего не расслышали, о том не переспрашивают. Улыбки тяжелые, невпопад: раздвинется рот, нескоро его сожмешь.

Вот человек сидит у стенки, может быть пятый, может быть десятый день, и вдруг схватывается, шарит в мешке, вынимает фотографию, ставит на земляную приступу. Сам не смотрит, но пусть стоит рядом. Сосед наклоняется к фотографии, таращит глаза, как пьяный. Криппе идет мимо, тоже подходит. И человек как будто рад, что у него есть зрители.

На фотографии изображен он сам, его жена, двое детей. Жена у него хорошая, светловолосая, прическа башней с тремя гребнями: два боковых, средний с камешками на самом верху. От прически на молодом лице какая-то гордость. Сам он тоже в праздничной манишке, брови густые, глаза спокойные, но видно, что человек при случае может улыбнуться. На столике между супругами железнодорожная фуражка.

Сейчас только по бровям можно узнать, что это тот самый человек. Сейчас у него красное, беспокойное лицо, пустые глаза. Устал человек от канонады: еще немного, начнет рыть ямку в стене, прятать голову. И фотографию выставил, может быть, как последнюю защиту.

Надо бы посмотреть на фотографию и отойти. Но Криппе шевелит губами, ищет слов, а человек ждет, и получается мучительно для обоих, так что человек уже машет рукой — отойди. А Криппе в ответ улыбается и сам чувствует, что улыбка эта не подходящая, что за такую улыбку надо гнать вон. Разъехалось лицо, хоть руками его поправляй.

Что это за улыбка? Он сам хочет определить ее смысл:

есть в ней, должно быть, кое-какое народолюбие, кое-какая спесь, чуть-чуть фатализма, чуть-чуть пафоса соборной смерти — остатки разных чувств, пришедших из литературы и вдруг испарившихся, и вот в трудную минуту человек остался пустым, с одной лишь разъехавшейся улыбкой.

Криппе сует руку в карман. В кармане лежит что-то, чего он туда не клал. Это занимает его на некоторое время. Он разжимает руку: на ладони комок глины. Он долго держит ее на ладони, не в силах понять, как глина попала в карман.

— Набило снарядами, — объясняет немолодой рыжий солдат, тот самый, который вместе с ним разглядывал фотографию. Он смотрит на Криппе внимательно и без всякого дружелюбия.

Криппе бросает глину, идет дальше.

Во всей роте среди затихших людей только один человек безумствовал у бойницы; скрипел затвором, палил неведомо куда, орал:

— Это вам не турецкий фронт!

Выбрасывал гильзу, снова скрипел. Затвор был заеден песком, мог получиться взрыв, но человек словно не замечал.

Криппе увидел косые ремни, прапорщицкий погон, смуглую щеку. Заглянул сбоку: не Цебрик ли? Нет, не Цебрик. Поскорее отвернулся, чтобы не знакомиться. Но прапорщик уже увидел подобного себе, бросил винтовку, стал обыкновенным человеком.

— Нет ничего хуже, как сидеть без дела, — сказал он, улыбаясь. — Хочется хоть что-нибудь делать. Вас назначили в восьмую роту?

— Нет, — ответил Криппе с приятным сознанием, что он не имеет отношения ни к каким ротам, — я прислан для наблюдений за артиллерийской стрельбой.

— А я здесь полуротным. И, пожалуй, придется быть ротным. Ведь Добрякова укокало начисто.

„Борода, — вспомнил Криппе, — голос зычный, приказать может. Из сельских учителей, а солдаты — те же дети“...

— Только один день и командовал. А командовал: сидел вот тут, сопел и курил. Я подбирался к его папиросам — не

давал. И никому не давал. Я уже думал, у этого добряка не закуришь. И вдруг приходит момент, встает наш Добряков, улыбается и начинает раздавать папиросы всем желающим. Роздал все, подарил портсигар, пошел за нуждой в ход сообщения, там его сразу же на собственной куче... Как это человек знал, что пора раздавать папиросы? Чувство, что ли, такое?

Криппе молчал.

— Вы посидите тут, — вдруг спохватился прапорщик. — А я все-таки сбегаю к батальонному. Надо выяснить, кто я такой: ротный или полуротный?

Он зашагал прочь. Солдат с крестьянским бородатым лицом поднял голову и сказал жалобно:

— Прапорщик убежал... Ребята, прапорщик убежал...

— А дурак он с нами сидеть, — сказал рыжий. — У батальонного в блиндаже балки в четыре ряда. Из такого блиндажа можно воевать...

— Не скулите, — недовольно отозвался солдат с небритым еврейским лицом. — Нашли, о чем скулить.

— Прапорщик никуда не убежал, — сказал Криппе сердито, потому что хуже всего было делать вид, что ничего не слышишь. — Он пошел по делу и сейчас вернется.

И вдруг, заметив на гимнастерке еврея университетский значок, пригляделся к его лицу и сказал без удивления:

— Как будто знакомы?

— Как будто... — неохотно согласился еврей.

Криппе вспомнил.

Университетский коридор был пуст. Полицейский офицер и наряд городовых стояли наготове у проректорской. Десятка два студентов сидели на подоконниках, наблюдая, как после звонка по коридору начиналось шествие профессоров. Профессора, выполняя обязанность, доходили до дверей пустых аудиторий и возвращались назад. Некоторые аудитории были не совсем пусты, и тогда кто-нибудь из студентов вставал с подоконника, шел навстречу профессору и говорил, что хотя кое-

какие слушатели у него есть, но студенты просят его вернуться и не срывать забастовки. Профессор, морщась, недовольный своей полуштрейкбрехерской ролью, поворачивался и уходил.

— Ваш полковник — хам, — сказал бывший студент без всяких вступлений. — Какое-то желание обязательно унизить человека. Когда мы шли на подкрепление, он выскочил из блиндажа с палкой, ругался. Меня спросил: кто я такой. Я сказал: „Юрист“. — „То-то у тебя рожа кулака просит“, именно потому, что я еврей и у меня университетский значок. Чувствуй, мол: вот мы тебя загнали в окопы, и уж тут ничего не поделаешь. Хам!..

Криппе поморщился. Громкий разговор о полковнике в таком тоне его не устраивал.

— Моя фамилия Буссель, — продолжал студент. — Это на тот случай, если вы вздумаете донести обо мне полковнику.

— Бросьте, коллега, — сказал Криппе недовольно. — Вас загнали в окоп по-хамски, меня более вежливо, — но суть дела одна и та же...

— А разве вас загнали? Вы не доброволец?

Сильный разрыв остановил разговор. Головы пригнулись. Криппе схватился за темя. Никогда еще он не чувствовал такой тесноты под черепом.

Бородатый плаксивый солдат, который всполошился, когда прапорщик ушел из окопа, посмотрел в бойницу и подбежал к Криппе:

— Ваше благородие — химия! Посмотрите, какой дым...

Криппе посмотрел. Дым был розовый, цвета облаков на закате. Возможно, что это и был химический снаряд, но Криппе все равно не знал, что надо делать в таких условиях. Он знал, что есть какие-то бинты, которые рекомендовалось смачивать водой из фляжек и держать у носа. Сам он бинта не имел.

— Что же, ваше благородие, так и погибать? — лез на него плаксивый солдат. — Так и погибать?

— А что ты думал? — вдруг заорал Криппе, рассвирепев от собственного бессилия. — Так и погибнешь.

Солдат попятился от него, не отрывая взгляда. Щеки его тряслись. Криппе сам испугался впечатления, какое произвела на него его уверенность.

— Мы, — сказал он уже другим тоном, — на войну не гулять приехали. Тут все может быть.

Но солдат, как обиженный ребенок, уже не смотрел на него.

— Зачем напрасно пугать людей? — недовольно заметил Буссель. — Никакой химии нет. Был один сомнительный снаряд, да и то весь дым отнесло в сторону. Ветер параллельно окопам. Смотрите, куда гнутся кусты.

„Не варит у меня котелок! — с отчаянием подумал Криппе.— Ведь то же самое я мог бы и без него увидеть, а не увидел. . . "

Он почувствовал себя лишним в окопе, встал и, словно спрашивая разрешения, сказал:

— Ну, я пойду.

Плаксивый солдат встрепенулся:

— Смотрите, ребята. И еще прапорщик хочет бежать...

Он вскочил и, оглядываясь на других, загородил Криппе дорогу, но, когда Криппе пихнул его в грудь, он отлетел, не сопротивляясь, словно сам отпрыгнул.

— Никуда я не бегу, — заорал Криппе, — а иду по своим делам. И вообще я не в вашей роте. Я прислан в окоп наблюдать артиллерийскую стрельбу, чорт вас возьми совсем...

7

Телефон находился в блиндаже у батальонного, и стоило раз побывать в этом блиндаже, чтобы потом тянуться туда неудержимо: там стукало куда тише. Из такого блиндажа действительно „можно было воевать". В первый раз Криппе, доложив полковнику о попаданиях, заговорил о положении вообще:

— Потолки в седьмой роте провалены, у входов пробка раненых, деревня перед шестой ротой горит...

И вдруг заметил, что из темноты к телефону пододвинулся

какой-то поручик и остановился с недружелюбным видом. Пока Криппе говорил, он не вмешивался, но потом обрушился на него со всем пылом:

— Зачем вы это ему говорили?

— Потому что это правда...

— Вы ни черта не понимаете! Он — болван, он никогда не был в окопах. Что бы вы ему ни говорили, он ответит одно: держитесь до последнего... Ему больше нечего отвечать. Что он вам сейчас ответил?

— Он сказал: держитесь до последнего.

— Вот видите, — захохотал поручик и посмотрел на телефон, дергаясь лицом, точно это был сам полковник. — Вчера немцы были почти в окопе, и от него из-за тридевяти земель гениальный совет: „Так помните, поручик: пуля — дура, штык...“

Он передразнил манеру полковника и поперхнулся от отвращения.

— А в это время у самого подвода уже уложена, чтобы лететь по первому звуку...

— Никогда не говорите правды, — сказал он потом, сообщая Криппе основное правило поведения. — Им правда не нужна. Что бы ни случилось, отвечайте: „Так точно, держимся“...

Убеждал его в этом с тоской, задушевно, с огнем в глазах, совершенно не понимая: как можно говорить правду. Почти приказывал:

— Пока вы в моем батальоне...

8

— Самое странное, — сказал Буссель, — что мы даже не хотим задумываться: зачем мы здесь? Вот вы, например, можете ответить на этот вопрос?

— Не стоит об этом, — поморщился Криппе, точно ему задавали нудную работу. — В окопах поздно рассуждать: к чему и для чего...

Он хотел лежать на шинели под стенкой окопа, рядом

с хорошим человеком, слушать ночную ружейную стрельбу (все пули—шальные), смотреть, как бегает по стенкам свет от вспыхивающих ракеток. Тело, напуганное за день, буйно отдыхало. Люди были сонные, лежащие. В темноте казалось, что все они убиты.

— Я о себе не говорю, — продолжал Буссель. — Я еврей. Я не могу быть ни офицером ни унтер-офицером. Меня притащили сюда на аркане. Но меня интересует, как вы попали в окопы?

— Меня, если хотите, можно считать добровольцем, — сказал Криппе.—В первые дни войны я действительно подал заявление, но оно пролежало пять месяцев без движения, я забыл о нем, передумал ехать на войну, и только тогда пришла повестка. Я не стал откручиваться. Я даже обрадовался. Мне надоело читать газеты, осточертели федоровские корреспонденции. Уж лучше испытать самому. Пошел прощаться с товарищами и почти со всеми переругался. Есть у меня приятель Гейман. Он мне сказал: „Дурак ты чортов! Тут вопрос идет о разделе рынков. Зачем ты лезешь в это дело?" От него кстати я впервые услышал о рынках, ни в какой печати об этом не было ни звука. Я говорю: „Плевал я на рынки. Важно, что сейчас там восемь миллионов людей. Восемь миллионов не могут ошибаться". — „Ошибиться могут сколько угодно миллионов. И, если желаешь знать, все эти восемь миллионов погибнут и явятся всего лишь удобрением для будущей революции".—„Отлично. Значит, и я являюсь удобрением для революции. Не возражаю". — „Зачем же быть удобрением для революции, когда можно самому ее делать?" — „Делай, если тебе интересно, а мне интересно быть удобрением". Откровенно говоря, мне не понравилось слово: делать. Что значит: делать революцию? Революции не делаются, а происходят. Очень жалко будет выглядеть революция, если ее сделает такой теленок, как Гейман. Вот, если восемь миллионов лягут в фундамент, тогда уже будет серьезно.

„Пошел к другому товарищу, а он тем временем стал полезным человеком. Он призывной, но пошел по госпитальной части — заведует поставкой градусников. Он мне сам

предложил: „Я тебя устрою в госпиталь. Будешь как в бесте“. Я говорю: „Не хочу быть как в бесте“.—„Значит, тебе нравится лезть в пекло?“—„Мне это не нравится, но я полезу в пекло, чтобы чем-нибудь отличиться от такой публики, которая сидит в тылу и спекулирует градусниками...“—„Ты, говорит, дурак, ты несешь неведомо что“.—„А ты—умник. И это действительно умно: во всех случаях жизни садиться в бест. Но чорт тебя дери с твоим умом“...

„Уже из школы, немного натаскавшись, зашел я к товарищам на Васильевский. Там их целая артель. Сидят, зубрят: один историю римского права, другой—догму, третий — полицейское право. Воздух кислый, глотки перекуренные, разговоры об одном: что сдаешь? когда сдаешь? у кого сдаешь?

„Я уже перестал понимать такую жизнь. Меня встретили иронически: „Здравствуй, барабанная шкура“. Я им сказал: „Бросьте вы это штатское пренебрежение к военным. Оно ни на чем не основано. Вы не умнее их, но они сейчас в тысячу раз нужнее вас. Когда в Михайловском манеже в первый раз построили на ученье призванных студентов, и фельдфебель, видя, что они ничего не понимают, крикнул: „Тут вам не университет, тут надо головой работать!“—весь строй расхохотался самым искренним образом. Но эти же самые студенты даже после двух месяцев обучения не могли построить роту или пустить ее справа по отделениям. Рота, двигавшаяся по их команде, упиралась в стену, превращалась в хаос. Потому что тут действительно надо было работать головой.

„Они смеются: „Однако тебя уже заразили...“—„Да,— говорю,—заразили. И не плохо если б и вы немного заразились. Что вы собой сейчас представляете: комнатные люди, недоученная слякоть, у вас вогнутые плечи, мутный взгляд,—я подозреваю вас в онанизме, — вы держитесь так, точно всегда у вас подмышкой градусник. Вы наверное даже не знаете, как пахнет земля. Когда в батальоне вас будут учить перебежкам и вам придется прижиматься лицом к земле, вы может быть впервые в жизни услышите ее запах.

И вы будете благодарны тому самому фельдфебелю, который гоняет вас по полю".

„Но тогда они говорят: „Чтобы итти в окопы убивать немцев, надо их ненавидеть. У нас нет этой ненависти".— „А у меня она есть? Это дикари ненавидят и съедают своих врагов. Мы врага уважаем. Мы воюем с противником, как играли бы с ним в футбол. Но, конечно, условия игры опаснее, и от победы зависит существование государства..."

„Одобрил меня только Козловский — горе-философ, но сказал подходяще: „Война, конечно, бессмысленна, но поскольку вся наша жизнь есть одна сплошная бессмыслица, то уж лучше выбирать бессмыслицу более яркую". Я с ним вполне согласился. Действительно, что у нас была за жизнь? Смысл-то в ней был? И какая разница: зубрить римское право или учиться выкидывать штык? Я по крайней мере в батальоне почувствовал, что у меня есть руки и ноги. Я до тех пор держал в руках только карандаш. Прямо приятно было, когда фельдфебель орал: „Ровняйсь" и надо было выпячивать грудь..."

— Ну, а сейчас, — спросил Буссель, — вы тоже предпочли бы выпячивать грудь? Или же римское право будет поинтереснее?

— Сейчас другой разговор, — замялся Криппе. — Сейчас я, пожалуй, взялся бы за римское право. Но сейчас уже поздно об этом говорить.

— Но все-таки вы убедились, что культура есть культура, а здешняя гнусь — это только гнусь. Вы убедились в этом?

— Почти.

— Вы хотели бы сейчас попасть в большой город, скажем, в Петроград, на Невский проспект?

— Конечно.

— К людям, которые не отравлены страхом смерти, живут обычными интересами, говорят нормальные вещи, веселятся, читают книги...

— На Невский? — вдруг переспросил Криппе. — Почему именно на Невский?

Он осел, перестал поддакивать.

Странным образом Невский проспект ассоциировался у него с мотивом матчиша. В двенадцатом году раскатывал по Невскому один автомобиль, принадлежавший купеческому сыну, и сирена автомобиля воспроизводила этот мотив.

Этот дрыгающий мотив свирепствовал тогда по русским городам, исполнялся в мажоре и в миноре. Немногие знали, как он танцуется, но слова были известны всем:

Матчиш—прелестный танец,
Пьянящий, жгучий,
Его привез испанец,
Брюнет могучий...

Купеческий сын придерживался Невского проспекта. Его не прельщало дивить матчишем второстепенные улицы. Он пролетал по Невскому десятки раз в день. Он никогда не давал сирене выговориться до конца. Он выблевывал мотив по частям.

„Матчиш—прелестный танец",—заводил он где-нибудь на углу Надеждинской и обрывал, но прохожий невольно навострял слух и ждал продолжения. Продолжение доносилось издали: „испанец" — с угла Литейного, „брюнет могучий"—с Фонтанки, а еще дальше, на Садовой, попав в скопление экипажей, сирена обалдело басила припев:

Танцуй матчиш!
Танцуй, танцуй матчиш!

Купеческий сын развлекался простодушно, не подозревая, что у многих его музыка сидит в мозгу, как напоминание о чьем-то торжестве, о блевотном мире, который устроен так прочно, что против него не пойдешь. Даже иному смирному человеку делалось не по себе от этой сирены. Смирный человек не рипался, стоял в стороне, признавал силу и вдруг видел, что сила-то она вот какая: кабацкая, гогочущая, дразнящая...

Купеческий сын кончил развлекаться вследствие одной случайности. Хоронили очень важное лицо. Купеческому сыну пришлось огибать процессию. Возможно, в этот момент он пожалел, что в его распоряжении не было печальных звуков, а возможно, что и не пожалел и из озорства нажал грушу.

Родственники обиделись. Купеческий сын был вызван для внушения. Сирена смолкла.

— Я не хотел бы на Невский проспект,—сказал Кирппе.— Не знаю почему, но я всегда плохо себя чувствовал на этой улице, словно она была мне враждебна. Тупость какая-то нападала, недоумение. Я даже поставил себе задачу: жить в Петрограде, но как-нибудь эмансипироваться от трех вещей — от Невского проспекта, от папирос „Кадо" и от вечерней „Биржевки". Только никак не удавалось: всегда курил „Кадо", читал „Биржевку" и ходил по Невскому...

— Вот вы сейчас эмансипировались от всего этого, — засмеялся Буссель. — И как: веселее стало?

— Это еще как сказать? Может быть и веселее. Тут, по крайней мере, что-то чувствуешь...

— Вы не забывайте,—добавил Криппе, — что мы все-таки фронтовые люди. Мы отрезанные. Вернись мы домой, нас долго не будут понимать. Я это замечал еще в школе, по воскресеньям, когда брал увольнительную: знакомых много, а итти не к кому...

— А я думаю, я отлично вошел бы в прежнюю шкуру. Надел бы фрак, ходил бы по судам, постарался бы забыть все военное. В одном отношении я стал бы другим. Я иначе бы смотрел на природу. Этого бы я уже не забыл. На войне я научился понимать природу,—понимать—громко сказано, — но как-то ее замечать: что такое дерево, что такое трава, земля, камень? Недавно я видел дерево, которое было как клоун среди деревьев. И я его так и понял. Еще зимой, когда я только готовился к позициям, я обратил внимание на снег — как он идет. Это было наслаждение. Я не понимал, почему я не замечал этого раньше.

— Это оттого, что раньше у вас не было смерти за спиной.

— Может быть...

В окоп тенями вошло подкрепление. Люди с непривычки думали, что в окопе надо вести себя тихо. Осторожно брякали, осторожно размещались на пустых местах. А для начала останавливались у бойниц, заглядывали в сторону ракеток, и тогда при вспышках Криппе видел: козырек, скулы, расширенные глаза и в глазах огонек страха и любопытства.

9

Ночью, без команды, батальонный был человек как человек. Сидел у свечки, пил чай, потел, разглядывал фотографии. Когда вошел Криппе, он его приветствовал:

— Кстати пришли. Ночью разведчики лазили за проволоку, нашли немецкий ранец. Вы должны знать по-немецки. Переведите, что тут написано.

Фотография изображала могилку пирожком, выложенную камешками, политую известкой, с бордюрчиком по верхнему овалу и крестом, на котором посередине была крупная надпись: „Unserem russischen Kameraden", пониже более мелко: „Leutenant, Inf.-Reg. 190" и еще ниже: „Name unbekannt".

„Нашему русскому товарищу, — перевел Криппе, — лейтенанту 190-го пехотного полка, имя неизвестно".

— Предположим, — сказал батальонный, — что лейтенант — это поручик или подпоручик. Выходит, что какому-то убитому поручику нашего полка, брошенному в окопах, немцы выкопали могилу и поставили памятник?

— Выходит.

— Видать, что не хамский народ, — умилился поручик. — Они понимают, что офицера надо похоронить как следует. И надпись верная: офицер офицеру товарищ, точно так же, как и солдат солдату. Мы разных наций, мы воюем, но мы — товарищи...

Он умилялся еще некоторое время, но после раздумья переменил тон:

— Пожалуй, в штабе на эту фотографию посмотрят косо. Я ее посылать не буду, и вы о ней не распространяйтесь. Что из нее следует: смотрите, как немцы вежливо обращаются с убитыми. Должно быть, и с живыми не хуже. Короче говоря: сдавайтесь в плен...

Криппе засмеялся неожиданному обороту дела.

— Делать им ни черта, — продолжал поручик, — оттого и памятники ставят. Ведь мы их ничем не беспокоим — какие-нибудь пятьдесят снарядов в день. Живут как на даче, жрут, коньяк получают, фотографией занимаются... У нас: например, кому сейчас придет в голову заниматься фотографией?

Он отложил фотографию в сторону, подумал еще и разорвал фотографию.

— Кстати,—вспомнил он,—насчет вас, прапорщик Криппе, было устное распоряжение: вам оставаться в окопах для поручений. Был намек, что вчера вы были не на высоте, так что сегодня вам надо стараться.

— Не на высоте?—встрепенулся Криппе. — Я докладывал, что было надо. Чем я виноват, если не о чем докладывать?

— А как вы докладывали? Я слушал, меня злость брала. Вас спрашивают: какое положение на участке перед шестой ротой? Куда падают наши снаряды? Вы отвечаете: „Деревня перед шестой ротой горит, из-за дыма нельзя рассмотреть разрывы от наших снарядов". Отвечать таким образом — это значит самому напрашиваться на поручения, потому что вам обязательно скажут: если из шестой роты не видно, то пойдите в седьмую, восьмую, десятую и оттуда загляните, но дайте ответ. На это вы совсем по-шпаковски отвечаете: „Эге! тут не пройти (в мирное время вам показали бы, какие бывают „эге"), в седьмой роте провален потолок, засыпан ход, придется подниматься на поверхность". — „В таком случае пойдите в седьмую роту и узнайте, на каком расстоянии провален потолок". И так далее, и так далее. Вам же лишнее беспокойство. Надо отвечать: „Так точно. Снаряды падают, насколько можно из-за дыма рассмотреть, в нужном направлении и дают нужный эффект. Шестая рота в боевой готовности стоит у бойниц, ожидая соответственных распоряже-

ний. Состояние духа удовлетворительное". Вот ему и нечем крыть. А самое главное: и ему спокойнее. Он передаст ваши слова в дивизию, а вам немного погодя выпишут клюкву за отлично исполненные поручения...

Первый рассветный снаряд клюнул где-то землю с остервенением мелкого, очень злого животного. Первый снаряд воспринимался как что-то невероятное, чего никак нельзя было ждать. На втором, на третьем удивление проходило: канонада с двух слов убеждала, что она есть и будет.

— Началось...—вздохнул кто-то из невидимого угла.

— Да-с, господа ротные и полуротные,—сказал поручик:— началось. Прошу вернуться к исполнению обязанностей.

Прапорщики, которых по разным углам спало человек пять, встали, двинулись к выходу. Лица были серые, измятые. В движениях—оттяжка.

— Заглядывайте иногда в блиндаж, — напутствовал их поручик,—но не часто. Солдаты обращают внимание.

Криппе был обескуражен. Втайне он надеялся, что его позовут обратно в штаб, он заляжет в блиндажик. Его забудут. У него будет отсрочка в два-три дня. А через три дня может быть полк пойдет на переформирование. И так далее.

Между тем день начался с окрика: не на высоте. Впереди были верных четырнадцать часов канонады, и батальонный уже посматривал в его сторону, готовя и для него фразу: „Прапорщик, вернитесь к исполнению обязанностей". Криппе встал, предупреждая эту фразу, вяло взял под козырек:

— В случае, если меня потребуют к телефону, я буду в шестой роте.

Кокарда батальонного попалась ему на глаза. Он лишний раз вспомнил, что кокарда — солдатская. И вдруг, что-то вспомнив, он остановился, вынул кошелек и, торопясь, начал шарить в нем.

Полгода назад Криппе в Кузнечном переулке наткнулся на цыганку. Цыганка сказала:

— Хочешь знать, твоя голова будет-не-будет цела?

— А что мне голова?—сказал Криппе.—Что с ней может быть? Я не военный.

— Ай не говори,—протянула цыганка очень предостерегающе, и, так как Криппе остановился, она уже сочла его своей добычей и потащила за локоть в сторону. И Криппе подчинился, потому что считал невежливым выдергивать свою руку силой. Когда он смирился совсем, она выставила руку косяком и прикоснулась к нему.

— Позолоти руку. Сколько не жаль: гривенник, двугривенник...

Криппе вынул из кармана наличность: три серебряных рубля и один пятиалтынный. Пятиалтынный положил на руку цыганке, а рубли спрятал обратно. Пятиалтынный исчез как в воздух, и цыганка начала бормотать что-то второстепенное, но так как она видела у Криппе рубли, то в дальнейшем ставка у ней была уже на эти рубли.

Побормотав немного, она сказала, что теперь переходит к главному, насчет головы, но для этого на руку нужно поставить три монеты, именно три серебряных монеты:

— Ты только поставь,—нужно, чтоб они стояли, а потом ты их получишь назад.

И так как она была высокой специалисткой по мелким вымогательствам и таких, как Криппе, видела сотнями, то рубли в конце концов были поставлены и исчезли так же волшебно, как и пятиалтынный.

Гадала она очень недолго, насчет головы не сказала Криппе ничего особенного, перекинула карты в руке, показала какого-то валета и сказала, что если этот валет его не убьет, то все будет хорошо. Затем собрала карты,—они тоже вдруг пропали,—и собралась уходить.

— А деньги?—спросил Криппе, очень обеспокоенный, потому что это были его последние деньги.

И тогда цыганка страшно удивилась. Она не стала

говорить, что она не брала денег, но посмотрела на Криппе с таким пламенным негодованием, что тот отступил, поняв, что ему с ней будет не совладать.

— Какой стыд! — сказала она, оглядывая Криппе сверху донизу и всплескивая руками.—Такой господин! Такой господин — и вдруг: деньги назад... Бывают совсем плохие люди,—зашептала она,—ноги твоей не стоят, а дают по двадцать пять рублей. А ты — деньги назад... Такой господин!

Она раболепствовала и негодовала, но понемногу отступала назад, чтобы не прозевать момент, когда Криппе заорет дворника. Но он не орал, он только смотрел опечаленно, и, подождав, она снова шагнула к нему, ибо предпочитала кончать дело миром. Она протянула руку, разжала ладонь, и Криппе увидел, как на ладони возник один серебряный рубль.

Он взял его и повеселел, потому что не надеялся вернуть себе даже этот рубль. И когда все кончилось хорошо, цыганка закурила сама и дала закурить ему. Она держала папиросу левой рукой, а правую уперла в свой пышный несвежий бок. Она пускала ему дым в лицо и усмехалась, позволяя ему любоваться собой. Потом она провела рукой по складкам у груди, еще раз протянула к нему руку и разжала ее, и Криппе увидел на ладони клубок серых корней, спутанный, как отрезанное корневище чеснока.

— Вот тебе за простоту, — сказала она, отщипнув для Криппе корешок.—Храни. Пока хранишь, твоя голова будет цела.

Это был трюк для заключения всей сцены, чтобы оставить человека с раскрытым ртом и смыться окончательно, и так и надо было это понимать, но Криппе, оставшись с корешком, не выбросил его, но зажал в ладони. Корешок получил какое-то значение, хотя бы для того, чтобы потом посмеяться. Кроме того, было бы странно выбрасывать вещь, за которую только что уплатил деньги. В кошельке была почтовая кви-

танция. Криппе вложил в нее корешок, скатал комком, засунул на самое дно за подкладку.

Криппе, торопясь, вытащил комок и растянул бумажку за концы. Корешок при этом мог приттись и сверху и снизу бумажки. Он пришелся снизу и упал. Криппе нагнулся, зажег спичку. Под ногами была соломенная труха, мусор, нанесенный сапогами, еловые ветки, которые служили подстилкой. Каждый мелкий еловый сучок был совсем такой же, как корешок. Криппе зачерпнул горсть мусора и насчитал десяток сучков, которые все могли быть корешками.

Он бросил горсть на землю, встал с колен, усмехнулся поручику, который тоже нагнулся, следя за его поисками. Ничего не сказав, махнув рукой, он вышел из блиндажа.

10

Враг, живой враг, был невидим. При среднем зрении можно было заметить продвижение фигур вдоль фронта, особенно если фигуры тащили мешки с ротным продовольствием, которые были больше их самих. Шли эти люди гуляючи, повидимому, сытые и выспавшиеся, не сгибаясь, ибо были почти в безопасности. Из окопа в них постреливали, и случалось, что какая-нибудь фигура падала.

— Кувырнулся!—кричал в таких случаях стрелявший не без удивления, что все-таки попал так далеко.

Понималось это всеми как ответ, очень слабенький, на канонаду с той стороны, и ничего, кроме удовольствия, такие случаи не доставляли. А если фигура, полежав, вдруг подымалась и продолжала путь, то и против этого не возражали: уж лучше пусть живет.

Буссель и рыжий солдат не одобряли случайной стрельбы. Им казалось, что она даром раздражает немцев, которые могут усилить канонаду. В них говорило желание умилостивить канонаду. Им казалось, что не стоит сердить зверя уколами лапы, чтобы он не зарычал еще громче.

На самом деле зверь был не таким чувствительным. Он

не обращал внимания на уколы в лапы и рычал машинным способом, работал беспристрастно, добрасывая за день вторую тысячу снарядов на участок роты, а затем, когда нашел нужным, замолчал и, конечно, тоже не потому, что вдруг подобрел.

Молчание означало атаку. Но никто не думал об этом. Люди прежде всего обрадовались тишине и уже, увидев на той стороне движение, сообразили, что этого и надо было ждать, что за артиллерийской подготовкой должна следовать атака. В тишине голова прояснилась, появилось любопытство и такое чувство, точно в театре подняли наконец занавес.

Должно быть, немцы считали, что окоп подготовлен вдребезги, потому что людей в атаку пошла горсть. Это было ошибкой: в шестой роте все-таки стоял пулемет, и пулеметчик был на месте.

Из окопа открыли стрельбу, — немцы падали. В сорока шагах их взяли под пулемет: остались на ногах пятеро. Они продолжали итти, как шли, потому что бежать назад было еще бессмысленнее. Еще ближе, от пули сбоку, свалился пятый. Он был виден довольно ясно: с сединой в усах, с сизым лицом. Вероятно, у него было пробито позади глаз: прежде чем грохнуться, он, как только что ослепший, протянул вперед руку, в страхе, не решаясь сойти с места, позвал товарища:

— Камерад! Либер камерад!..

Но уже никого не было рядом, за единственного камрада оставалась винтовка, и с тем большей силой прижав ее к груди, всхлипнув, он упал.

Последних четырех оставили в живых. У проволоки, по знаку из окопа, они бросили винтовки и гуськом вошли в проход. В окопе сели рядом, отдышались, пропотели. Поту с них сошло много: от остановки с хода, но главное — от радости. Радости не могли скрыть. Раньше других отошел самый немолодой, который скоро уже улыбался, хоть и глядя мимо людей. Еще двое, более сдержанные, сидели, полузакрыв глаза, но в положении ресниц уже чувствова-

лись мир и спокойный отдых. Четвертый, жиденький, с треугольным лицом, двигал пыльными белками и только набирался мыслей. На них смотрели издали, чтобы дать им отойти. Страшный, нечеловеческий труд атаки, только что проделанный ими, внушал почтение. Все понимали, что радости им стыдиться нечего. Они свое сделали, они шли на верную смерть и виноваты лишь в том, что их не убили. И вот война для них кончилась, впереди — плен и, так-сяк, жизнь...

В первые моменты даже не сообразили, что у немцев в походных фляжках — коньяк. Отходчивый немец сам напомнил об этом, пошарив у себя сбоку и протянув свою флягу тому, кто возьмет. Жест у него был: знаю вас, русских, любите выпить... Фляжку от него принял солдат с густыми бровями, который вчера выставлял фотографию.

Отходчивый дал фляжку сам, с остальных уже начали снимать. Пулеметчик сам фляг не отстегивал, за него работал белесый солдат, связь. Завладев флягой, пулеметчик понес ее батальонному. Фляга у треугольного немца оказалась пустой. Он говорил: „Schade“, смотрел напуганно.

Фляга с коньяком в руках бровастого солдата перевела людей на путь легкомыслия. Легкомыслие, заколоченное канонадой в самый низ души, вырвалось наружу. Стало казаться, что эта фляга — заключительный эпизод, на ней кончаются все атаки, вся война, после нее уже ничего не последует. И вот на несколько минут о немцах забыли, и центром внимания стал бровастый солдат.

Он сейчас был похож на свою фотографию. Озорная улыбка, которая на портрете была в зародыше, сейчас заполняла глаза, шла через все лицо. Он как будто говорил: „Вы меня еще не видели, а я вот какой“. Улыбка была окопная — немножко застылая, немножко больная, но и ее хватало, чтобы стать в окопе первым человеком: около такой улыбки и посидеть нескучно и умрешь без надсады.

Бровастый умел проморить народ. Пока он взбалтывал флягу около уха, чтобы определить, много ли в ней осталось, пока взвешивал ее на руке, пока отвинчивал крышку,

люди изошли томлением. А потом он еще начал принюхиваться сначала одной ноздрей, потом другой. На него и злились и в то же время не могли оторвать от него взгляда.

— Длугач, — сказал плаксивый солдат.—Пей ради бога. Пей и о нас думай. Нас вона сколько...

Он показал рукой на себя и на ближайших соседей. Криппе, который стоял рядом, тоже попал под этот жест.

— Дели на четверых, — сказал Длугачу рыжий, который хотел определенности. Он посчитал компанию, тыкая пальцем. В его счет вошли: Длугач, он сам, плаксивый солдат и Буссель.

— А его благородию, — добавил он в сторону Криппе, — будет особо.

Криппе не претендовал на коньяк и не стал бы его пить, но выпад рыжего был ему неприятен. Это значит: опять делай вид, что ничего не слышишь, уходи. Он посмотрел на Длугача, который все с той же улыбкой подносил флягу ко рту, он еще раз оценил эту улыбку, и теперь ему показалось, что она совсем уж не такая широкая и целительная. Потому что мало видеть чужую улыбку, но надо еще быть включенным в нее. Иначе от нее только обида.

Но Длугач готовил свое собственное решение вопроса. Он почти прикоснулся к фляге губами, зажмурил глаза, помотал головой и вдруг отвел руку, посмотрел на рыжего, посмотрел на Криппе и протянул флягу Криппе:

— Нечего перед смертью зло разводить. Вместе погибаем? Какая разница? Начинай, ваше благородие.

„Что он — прощает меня, что ли?“ — сердито подумал Криппе, но улыбка Длугача снова показалась ему пленительной. Он дубовато взял флягу, глотнул из нее и надолго закашлялся, чтобы скрыть смущение.

Рыжий негромко сказал:

— Они за двести рублей погибают, а мы даром. Вот и разница...

Но фляга перешла к нему. Он вздохнул, возвел глаза, глотнул, долго водил во рту языком, остался недоволен.

О немцах вспомнили, когда с флягой было покончено.

Подсели к ним, пощупали сукно на мундирах, потрогали ранец, котелок. Вещи были добротные — мундир толстый, ранец покрытый мехом, котелок двойной, поместительный.

Заговорили об их будущем: что их ждет. Спросили: умеют ли пахать, косить, на лошадях возить? Показали в русскую сторону, куда их повезут. Сами в эту сторону с теплотой посмотрели:

— К нашим бабам, сволочи, едете...

Из немцев трое умели и пахать и косить, четвертый, треугольный, показал, будто что-то крутит и наставляет рукой — какая-нибудь специальность. Обнадежили и его.

— Не робей,—сказал Длугач.—Найдется и тебе дело. Руссланд — гут! Пить — гут! Есть — гут! Бабы — гут! Всё — гут!

И вот уже немало минут прошло в разговорах, и немцы пришли в мечтательное настроение, и никто не потрудился подумать: почему не возобновляется канонада, — как вдруг новый поворот колеса: новая немецкая атака на тот же участок, но с силами раз в пять гуще.

Пришел в окоп батальонный: посмотрел на немцев, отвел взгляд, задумался. Но так как на все размышления давалось три минуты, — атака велась стремительная, — он показал немцам ход сообщения, назначил к ним провожатых, а затем подошел к пулеметчику и показал ему куда-то в сторону и взад. Пулеметчик с полуслова стал сворачиваться. Солдаты у бойниц, снова загипнотизированные зрелищем атаки, едва заметили его исчезновение.

— Прапорщик! — крикнул батальонный в сторону Криппе и в спешке поманил его пальцем, но, когда Криппе подошел, батальонный уже передумал и посмотрел на него как на пустое место:

— Нет, нет. Вас не надо.

Он был в волнении, дергал бороденку, бормотал:

— Экая пакость...

Последним вышел треугольный немец и за ним плаксивый солдат. Плаксивый вышел по охоте. Была мысль, что они поведут немцев в штаб и, значит, окоп останется позади,

а в этот момент сильнее, чем когда-нибудь, хотелось быть подальше от окопа.

Но поручик, стоя у выхода, пропустил мимо себя шествие, дал ему растянуться и негромко скомандовал:

— Стой! К ноге!

Команда, хоть и вразброд, была выполнена. Поручик набрал воздуху и крикнул:

— К бою готовьсь!

И эта команда была выполнена. Спины в серых мундирах стояли прямо, спины в шинелях изогнулись и застыли.

— Вперед коли, — взвизгнул поручик, — назад прикладом отбейсь!

Плаксивый сделал выпад. Штык его почти касался немца, и, чтобы не зацепить его, он отвел штык немного в сторону. Плаксивый не понимал, что колоть надо именно немца.

— Коли же, чорт! Не тяни! — в отчаянии крикнул поручик и схватился за кобуру.

Но тут четыреугольный оглянулся, плаксивый бросил винтовку и проскочил мимо батальонного назад в окоп. Батальонный заорал, запутавшись рукой в кобуре, и все четыре немца повернули назад посеревшие, встревоженные лица.

Рыжий, который шел третьим, повернулся, чтобы бежать, но не добежал: дорогу загородил пулеметчик. Пулеметчик повернул ствол вдоль хода сообщения, пострекотал очень недолго и сейчас же вместе с поручиком, подхватив на руки пулемет, побежал через трупы немцев и русских прочь от окопа.

Криппе, дрожа, смотрел им вслед. Он щупал свой наган: то ли застрелиться, то ли в кого-то стрелять. Наган был для него как чужая вещь: он еще ни разу не стрелял из него. Когда сверху над ходами сообщения показались немецкие каски, и немец, спрыгнув вниз, набежал на него со штыком, он не сопротивлялся. Он только сделал жест в сторону убитых немцев, точно говоря:

„Это не я. Ей богу, не я. Это вообще не мое дело. Я прислан в окопы следить за попаданиями артиллерии! . .“

Немец со штыком не заметил этого жеста, он ничего не знал о четырех немцах, ему некогда было думать, потому что он задыхался от страха. Он мимоходом ткнул Криппе в грудь, выдернул штык и бросился к входу в окоп.

О чем, собственно, думал батальонный, когда стоял в ходе сообщения, смотрел в спины немцам и дергал рыжую бороденку? Немцев он приказал уничтожить, потому что не мог во время атаки оставлять в окопе четырех врагов, — это на случай, если рота примет бой. А пулемет отправил в тыл — на случай, если рота не примет боя, чтобы сохранить хоть пулемет и, конечно, себя, согласно теории, по которой ценность в батальоне представляли лишь его командир и пулемет, а батальоны приложатся.

Поручик не без основания не доверял роте. Рота, видевшая своего врага, говорившая с ним, была уже не та, что раньше. Четыре немца стояли перед глазами. За их последний вопль еще надо было перед кем-то ответить, во всяком случае осмыслить его, но на это не оставалось времени. В решительный момент на лицах людей был страх, — и еще больше: задумчивость и удивление...

Рота оказала лишь случайное сопротивление. Окоп со всеми находящимися попал в плен. Кое-кого при этом убили, кое-кого оставили в живых. Люди погибали без разговоров, а те, кто целыми перешли бруствер, — в том числе Буссель, — вспотели.

Поручик в свое время явился к полковнику без батальона, но с пулеметом.

Порядок для таких дел известен: догоняют полковника на отступлении, выбирают момент, входят, рука у козырька, взгляд мимо глаз:

— Господин полковник, вверенный мне батальон перебит. Спаслись лишь я и двое из команды...

И после паузы, тоном более веселым:

— Пулемет удалось сохранить...

Полковник примет суровый вид, но втайне будет доволен:

— Костяк полка все-таки остался...

Полковник и поручик в основном понимали друг друга, и когда недели через три поручик, разделываясь с очередным батальоном, не успел удрать и был отмечен пропавшим без вести, полковник пожалел, что лишился понятливого и опытного офицера.

Сам полковник также командовал недолго. На следующих позициях он попал в блиндаж, строенный не умными людьми, и погиб под обвалом. Приблизительно тогда же подошла очередь попу, который за две кампании отсчитался контузией и глухотой.

Буссель в плену попал на работу к крестьянам. Его привезли в деревню, когда сажали бурак, и хозяин дал ему работу: таскать вдоль борозд бурачную сеялку. Ходить надо было ни быстро ни медленно, очень ровно. Хозяин шел сзади, смотрел, на каких расстояниях падают в землю шершавые бурачные шарики, и для правильности темпа запевал песню. Например.

Ach, wie schön sind die Kruppschen Kanonen!
Wir preisen ihr Leistung so hoch.
Sie kosten ja viele Millionen,
Aber gut, aber gut sind sie doch![1]

Если Буссель сбивался с шага, хозяин кричал на него, но в общем они работали мирно, и Буссель в веселые минуты даже подпевал ему. Университетский значок он снял, слишком глупо было с этим значком изображать собою лошадь.

Буссель когда-то говорил, что война научила его по-новому понимать природу. Он работал теперь на земле, постоянно видел деревья, поля, снег, небеса. Это была та же

[1] „Как прекрасны крупповские пушки. Мы высоко ценим их работу. Правда, они стоят много миллионов, но зато они хорошие".

природа, но он снова разучился понимать ее. Деревья были как деревья, одни более красивые, другие менее. Но никаких деревьев-клоунов он уже среди них не замечал.

В заключение о генерале, с которого начался рассказ. Он видел конец войны, две революции, развал старой армии и организацию первых красных частей. В этот период он был не у дел и сотрудничал, как военный авторитет, в одной из военных академий. Приобрела известность одна из его речей, в которой он с профессиональным педантизмом вояки отмечал все недостатки молодых формирований, слабую дисциплину, разношерстность обмундирования, отсутствие кадров, недостаточное снабжение и т. д. „И тем не менее, — сказал он в конце речи,—тот хаос, который мы сейчас видим в армии, совершенно отличен от хаоса периода развала старой армии. Там был хаос разложения, здесь — хаос созидания. На наших глазах возникает новый тип солдата, неведомый ранее...“

Старикан все-таки имел глаз и кое до чего догляделся.

СЛУЧАЙ С БОЧКОЙ

Дело происходило в маленькой крепостце на немецко-австрийской границе в Силезии. Крепость давно утратила боевое значение, и во время войны ее приспособили для содержания пленных. Осенью шестнадцатого года на одном из ее фортов сидели десятка три пленных офицеров, столько же солдат и несколько вольноопределяющихся.

Комендант форта, пожилой, несколько раз раненый артиллерийский „хауптман", был не злой человек и, выстраивая своих заключенных дважды в день на проверку, по трем категориям в отдельности, присматривался к ним скорее с интересом и дружелюбием, чем с высокомерием и официальностью. Простоять четверть часа утром и четверть часа вечером на „аппеле" и быть при этом одетыми в форму — это все, чего он требовал от пленных офицеров, предоставляя им остальные двадцать три с половиной часа проводить в постели или за картами и ругать немецкий паек и немецкие порядки, как им заблагорассудится.

Солдат он сверх того донимал требованиями внешней опрятности: их сапоги должны были блестеть, как зеркало; они же отвечали и за грязные сапоги офицеров. Кое-кто из солдат ездил с тачкой в город за продуктами, другие чистили картошку на кухне. В остальном их не очень беспокоили работой и кормили еще хуже, чем офицеров.

Все пленные, жившие на форту, и офицеры и солдаты, попали туда не случайно. Их присылали на форт одного за другим

из разных лагерей для лечения или исправления, и в списке против фамилии новоприбывшего фортовой писарь обязательно делал карандашиком одну из трех пометок: „L“, что означало Luetiker, или „A“, — Alkoholiker, или „G. S.“ — Gross Skandal. В последнюю группу входили виновники разных происшествий в лагерях. Сюда же относились пленные, пытавшиеся бежать, снова пойманные и присланные на форт, как в более надежное место.

Люэтиков здесь лечили последними верными средствами, алкоголики переставали пить по той причине, что все спиртное, даже одеколон или хинная вода, решительно не допускалось на форт. Что касается беглых и иных беспокойных людей, то они быстро успокаивались здесь, потому что какой смысл было затевать истории и строить планы, сидя в крепости, окруженной рвом в шесть человеческих ростов глубиной, с отвесными стенами, с единственным перекидным мостом у караулки и с часовыми через каждые двадцать пять шагов? Самые неугомонные беглецы, попав на форт, прощались с мыслью о бегстве.

Впоследствии один юный сапер, явившийся на форт для отбытия штрафа, разрушил его репутацию, доказав, что для успеха побега там как-раз было больше шансов, чем где бы то ни было. Он вспомнил типы крепостей, описанные в учебниках, и догадался, что отверстия в отвесной стене на противоположной стороне рва означают, что там идет подземная контрэскарповая галлерея обычного старинного типа, что такой же подземный ход тянется вдоль рва и с внутренней стороны, что между этими двумя галлереями есть сообщение подо рвом, что от контрэскарпа должен быть еще длинный ход вбок к старому пороховому колодцу, что если прокопаться в этом месте на поверхность, можно оказаться далеко позади последнего часового, и главное — что попасть в эти галлереи можно, разобрав заделанный люк в самой нижней камере, в той самой, в которой и жил этот изобретательный молодой человек, для чего требовалось только на некоторое время отодвинуть его кровать.

Все эти догадки блестяще подтвердились впоследствии,

когда началось большое дело о подкопе, через который бежало с десяток человек. Но все это произошло много позже того времени, к которому относится описываемая нами история. Юный сапер еще не появлялся на форту, секрет подземных ходов был неизвестен, и люди, замышлявшие побег, обойдя форт по валам и измерив взглядом глубину рва и количество часовых, решали, что не может быть и речи о бегстве через ров и что надо искать других способов. Они проникались интересом к выгребным ямам, люк которых тоже куда-то вел, подделывали ключи к дверям, за которыми могло что-нибудь оказаться, изучали до мелочей привычки часовых за рвом, их смены, приходы и уходы, испытывали, насколько действительно их бодрствование и насколько крепок их сон. Считали, что все это должно будет когда-нибудь им пригодиться.

Камеры пленных выходили окнами в ров. Они были ниже поверхности земли, и если смотреть из верхней камеры, корни деревьев по ту сторону рва приходились на уровне глаз, что с непривычки казалось странным. Жизнь по ту сторону рва, пенье птиц в листве, трава и цветы, и мотыльки над цветами казались плённым необычайными. Такая же трава и такие же цветы росли и на валах на форту, и мотыльки так же летали здесь над цветами, но пленные не смотрели на них. Все, что было на форту, находилось как бы в плену и было ненастоящее. Им хотелось цветов с той стороны рва.

В камерах столы и кровати стояли в углублениях прежних бойниц. Своды низкого потолка сливались с дугами арок, образуя сложные переходы. Можно было часами лежать на постели и смотреть вверх, стараясь уловить схему пересечения дуг, и все-таки ничего не понять в них. В толстых красных стенах во многих местах были проделаны узкие косые отверстия, через которые в свое время выводился пороховой дым. В некоторых местах сохранились массивные крюки для пушек, висевших тут прежде, вероятно для обстрела неприятеля, атакующего ров. Существовало предание, что на одном из этих крюков повесился когда-то французский майор, пленник 1870 года. Пленные охотно верили этому преданию и думали при этом о своей собственной судьбе. Все они пола-

гали, что в их положении самоубийство или сумасшествие будут естественным концом, все считали себя страдальцами и боялись „не выдержать“.

Время препровождение пленных было так же различно, как различны были сами люди. Были такие, для которых самым интересным занятием было чтение Кальдерона и Софокла в подлинниках или игра в шахматы с воображаемым противником. Другие изо дня в день пробавлялись игрой в преферанс и разговорами о женщинах, третьи совмещали это же занятие с зубрежкой немецких и французских вокабул по самоучителям. Были любители часами ходить по валу, погрузившись в задумчивость и не обращая внимания на остальное. А кое-кто от безделья просто сидел на верхних нарах, поплевывая вниз, все замечал и на все отзывался. Ежедневная раздача хлеба была единственным интересом их дня; они оживлялись и играли при раздаче главную роль, после чего снова увядали и забирались на нары.

Планы побега строились каждым по его вкусу. Один представлял себе, как он в дождливую безлунную ночь полезет на-ура через ров и скроется в кустах, другой в мечтах подкупал часовых, третий считал более надежным запастись немецкой солдатской формой и предъявить в воротах пропуск с поддельной комендантской подписью.

Один считал недопустимым во время побега посягать на чью-нибудь собственность, хотя бы дело шло лишь о паре картофелин с чужого поля. Другой легко разрешал себе эту вольность, у третьего похищения составляли даже наиболее привлекательную сторону всего предприятия. Программа некоторых не исключала в случае необходимости и убийства.

Было принято молчать о своих планах. Люди, которые легко разбалтывали то, что они придумывали, считались несерьезными. Над ними посмеивались, несмотря на их пыл и их очевидную искренность. Люди таились даже от друзей и, если в камере заходил разговор о побегах, отмалчивались и принимали безучастный вид.

Планы некоторых были наивны. Были два молодых чело-

века, которым казалось, что им никогда не вырваться с форта, но что побег может им удаться, если их переведут в какое-нибудь более легкое место, например в городской госпиталь. Для этого требовалось серьезно заболеть, и оба сознательно и всеми возможными способами губили свое здоровье, чтобы привести себя в пригодное для госпиталя состояние.

Один добивался этого голодом и с упорством каждый день бросал в глубину отхожего места свою порцию хлеба, потому что это вызвало бы удивление и вопросы, если б он вздумал отдавать хлеб кому-нибудь из товарищей. Хлеб был драгоценностью, каждый ел свою порцию сам, и не было в обычае ни давать его ни продавать друг другу.

За обедом он, как и все, брал свою тарелку, но обедал только для виду, тщательно обходя все, что могло хоть сколько-нибудь заполнить желудок. Он приучил крепостного пса сидеть около себя за обедом и под шумок сплавлял ему все самое существенное, а сам хлебал жижу. Или ел испорченную прокисшую пищу, оставшуюся от третьего дня, в надежде, что это вызовет у него острожелудочный приступ. Это походило на начало какого-то дела, он с увлечением каждый день проделывал свои хитрости и почти не чувствовал голода, и хотя не заболел, но к концу недели выглядел очень печально.

Людское сострадание погубило его. Один из его товарищей по камере, получивший посылку из дому и движимый лучшими чувствами, решил, что молодого человека надо накормить. Пустив в дело половину посылки, он состряпал яичницу из консерва на настоящем малороссийском сале и не пожалел ни сахару к кофе ни сухарей. Когда юный беглец понял, что это было сделано для него, он в ужасе отказался, но ни с чьей точки зрения в его отказах не могло быть ни смысла ни правдоподобия. Его упорство приняли за проявление застенчивости и без церемоний потащили к столу. Он проглотил первый кусок с мыслью, что может быть дело этим и обойдется, но в дальнейшем челюсти его стали работать сами, и ему оставалось только сдерживать себя, чтобы вести себя пристойно и не обнаруживать чрезмерной жадности...

Он встал из за стола с мыслью, что его дело пропало. На следующий день он никуда не выбрасывал своей порции хлеба и за обедом гнал от себя собаку, очень удивленную такой переменой обращения.

Его товарищ в это же время делал попытки простудиться. Начав издалека, он стал проповедывать необходимость закалять себя и очень скоро приобрел репутацию человека, который не может прожить и дня, не облившись холодной водой по крайней мере дважды.

Но никто не догадывался, что он принимает души, не снимая белья, а потом, накинув сверху шинель, идет через двор и подставляет себя ветру. В длинном коридоре, ведущем со двора в камеры, в узкой дыре с понижающимся полом и вечным сквозником, он двигался с совершенно непонятной медленностью, хотя сострадательный человек, тот самый, который накормил его товарища, предупреждал его об опасности и даже предлагал ссудить его парой теплого белья.

Однажды выпал снег, и человек, желавший простудиться, обрадовался. Он намял руками несколько снежков и положил их за пазуху. Он обтягивал на себе рубашку, чтобы прижать комки плотнее к телу, и думал, что теперь его дело верное.

История кончилась не так, как он хотел. Он действительно через некоторое время стал чувствовать колотье в груди, и его ноги стали ныть и плохо гнуться в суставах, а сам он стал сонливым и вялым. Этого было мало, чтобы быть отправленным в госпиталь, но вполне достаточно, чтобы чувствовать себя инвалидом, которому нечего и думать о широких планах, а остается только поддерживать в себе остатки здоровья.

Впоследствии он полюбил сидеть около железной печки, подбрасывать в нее уголь и, вдыхая легкий дымок, просачивавшийся в щели, мечтательно говорить, что от печки пахнет железной дорогой. Ему представлялось в такие минуты, что он едет куда-то.

Впрочем, когда осень и дожди установились прочно, всем

другим также стало казаться, что это неподходящее время для побегов, что надо переждать зиму. Летняя суетливость исчезла мало-по-малу и сменилась выжидательным спокойствием.

Но как раз тогда, когда это настроение установилось, неожиданно стало известно, что два молодых человека, Кнорр и Пахомов, собираются бежать, что для побега назначен один из ближайших дней и что за ворота они собираются выехать в бочке, в которой на форт возили воду.

Кнорр был прапорщик с сомнительной репутацией. Говорили, что из лагеря его убрали за тайную продажу вина товарищам, другие полагали, что он просто немецкий шпион, помещенный среди пленных, но никто ничего не мог сказать о нем наверное.

Но так как плен был не таким местом, где можно быть особенно разборчивым в знакомствах, а Кнорр был денежный человек, игрок и кутила, то с ним охотно водили компанию.

С картами у Кнорра тоже было не совсем чисто. Он много выигрывал и не меньше того проигрывал, но сам говорил, что проигрывает только до поры до времени. В его расчеты входила вся сумма денег, бывшая на форту в игре, каждый игрок был им оценен, и тысяча марок, проигранных постоянному партнеру, интересовали его меньше, чем пятьдесят пфеннигов, сданных случайному мазчику, который покупал на них сигарет и выводил их из игры.

Повидимому он готовился к какому-то решительному дню. Он испортил дело, чересчур разоткровенничавшись однажды и предложив показать фокус: он брался называть каждую выходящую из колоды карту. Он стасовал талию в несколько колод и стал сдавать, и каждая третья карта у него или оказывалась девяткой или вместе со следующей давала девять. А так как играли больше в железную дорогу, то такое обилие девяток показалось его партнерам опасным. Некоторые из них, те, кто остался ему должен по прежней игре, воспользовались этим случаем, чтобы не платить ему долга.

При всем том Кнорр был широкий и рисковый человек.

Он доказал это впоследствии, став героем одной вылазки, изумительной по наглости и удачливости. Но и тогда отношение к нему мало изменилось, признали только, что ему нельзя отказать в известной храбрости.

В конце концов, попав после одного дела под длительный арест и подвергшись конфискации всех наличных денег, он прислал на форт официальное заявление о взыскании через комендатуру денег со всех, кто ему был что-либо должен на форту. Это был длинный список, причем даже такие долги, как марка или две, тоже не были забыты.

Что касается Пахомова, вольноопределяющегося, то это был еще очень молодой человек, склонный к позе и лишним словам. Впоследствии, когда была начата работа с подкопом, он оказался также великолепным взломщиком и обнаружил смелость и выносливость. Он вскрыл тогда две массивные двери, запиравшие с обеих сторон подземный ход подо рвом, работая в течение многих часов и в полном одиночестве там, где на другой день несколько взрослых людей, идя об руку, испытывали жуть и желание бежать назад.

Но даже и в этот свой високосный день он не избег позы и, выбравшись через люк в камеру, возвестил об удаче и грядущей свободе в несколько театральном тоне, прозвенев над головой своими отмычками, как бубенчиками арлекина. Даже и тогда его очевидные заслуги перед компанией не рассеяли впечатления, что в общем это еще молодой, очень молодой человек.

Бочка, в которой Кнорр и Пахомов собирались бежать, появилась на форту несколько дней назад и еще через несколько дней должна была исчезнуть.

Обыкновенно вода на форт подавалась водокачкой, но иногда машина портилась, и на время ремонта немецкие саперы возили воду в огромной железной цистерне. Четыре лошади едва вкатывали ее по утрам на форт. Днем из нее брали воду, а вечером пустую бочку пленные солдаты выкатывали вниз за ворота и ставили около караулки. Там она стояла всю ночь, пока саперы утром не приезжали за ней с лошадьми.

Таким образом человек, которому бы вздумалось залезть в бочку и дать себя вывезти за ворота, имел в своем распоряжении достаточно времени, чтобы выбрать подходящий момент, вылезти из бочки и к рассвету быть за много километров от форта.

Товарищи относились к побегу различно.

— Это не серьезно, — сказал один обстоятельный человек, бывавший уже в бегах. — Такие вещи не делаются наобум. Они думают, что их дело сделано, если им удастся, не наделавши шума, вылезти из бочки. О дальнейшем они думают мало. На самом деле трудности только тогда и начнутся.

И он заговорил о том, сколько выдержки и выносливости требуется от человека, чтобы пересечь огромную страну, идя только ночью, по компасу, без дороги, а днем прячась где придется, хотя бы это была мусорная яма или сточная труба, и больше всего на свете избегая попасться на глаза людям, потому что встреча с кем бы то ни было, даже с ребенком, означала преследование и арест. Только люди с неслабеющим духом и закаленным телом, предусмотревшие все лишения и соблазны, могут выдержать такую жизнь долго и добиться успеха, и для этого мало очутиться за воротами крепости. За этим первым шагом надо сделать еще десятки тысяч шагов.

Сам он готовился к новому побегу давно и обстоятельно. Еще зимой из разных кусков старого форменного платья он собственноручно сшил костюм, по виду приближающийся к штатскому. Он работал урывками и таясь ото всех и окончил шитье только через два месяца. Еще месяц ушел у него на перечерчивание карты, что было делом еще более таинственным и требовало миллиона разных хитростей, чтобы обеспечить себе уединение и безопасность от чужого глаза. Немец, застав его за этим занятием, отобрал бы у него карту вместе с оригиналом, единственным на форту. Свой брат пленный, заметив у него карту, может быть стал бы посмеиваться над ним. Ему же хотелось, чтоб о нем думали, как о лойяльном выдержнаном человеке, отбывающем плен без

излишней легкости, но и без трагедий и каких-либо сумбурных фантазий.

Языки давались ему с трудом, но он с упорством долбил немецкую грамматику, потому что это должно было ему пригодиться. С весны его приготовления стали еще более определенными. Он несколько раз по-новому переложил вещи в своем походном ранце, приделал несколько новых отделений, исчерпывающим образом обдумал каждый пустяк.

И между тем сплошь и рядом ему приходили в голову все новые предположения о подробностях той жизни, какую ему придется вести в побеге и которую надо предусмотреть во всех мелочах. Мешок с сухарями увеличивался с каждым днем, потому что три четверти получаемого им ежедневно ломтя хлеба он откладывал на сухари. Это имело для него еще ту хорошую сторону, что приучало его к будущим лишениям. Минимум питания и максимум утомления — вот чем он хотел закалить себя. Он часами играл в теннис и в городки, пока пустота в желудке не доводила его до изнеможения.

Его медлительный проверенный метод был во всем противоположен нахрапному проекту Кнорра, и, конечно, он не мог находить его серьезным. Но он высказывал свое мнение в своей скрытной манере, как беспристрастный вдумчивый человек, которого такие вещи мало интересуют, потому что сам он никуда не собирается бежать.

— Еще одна бессмысленная затея, — с раздражением сказал о проекте Кнорра другой пленный. — Если б до сих пор хоть один побег удался, были бы понятны все эти бесконечные попытки. Но неужели еще не ясно, что это дело никогда нельзя довести до конца... Безразлично, где их поймают — сейчас же за воротами или в десяти верстах, — но их поймают, и дело кончится только репрессиями для остальных. Комендант уже говорил, что из-за побега одного запретят всем гулять по валам... Было бы лучше, если б каждый сидел, где он сидит...

Этот говорил о побегах с тем бо́льшим раздражением, что прежде сам питал такие же надежды. Да и теперь, называя

побег бессмыслицей, он в сущности возражал кому-то внутри себя, кто говорил, что побег как-никак хорошее дело.

Его девизом было терпеть и держаться. Война должна когда-нибудь кончиться, и он хотел выйти из плена таким, каким вошел туда. Каждый день, разглядывая себя в зеркало, он проводил рукой по волосам и прощупывал десны сквозь кожу и с удовлетворением замечал, что шевелюра его не редеет, а зубы все еще крепко сидят в деснах. „Надо держаться! — говорил он своему отражению. — Держаться до конца".

И, словно отвечая на мысль, постоянно приходившую ему в голову, добавлял:

— Бежать бессмысленно...

Хинная вода для волос, паста и полосканья для зубов, холодные обливания и гимнастика для тела, и главное — добавочные продукты, заказанные во всех комитетах мира, должны были поддерживать его в бодром состоянии вплоть до того момента, когда придет время выходить. И он хотел, чтоб и остальные думали так же и не предпринимали никаких глупых шагов, от которых не могло произойти ничего, кроме беспокойства.

— Это комедия! — сказал о намерениях Кнорра третий. — Ему просто нужна отметка немецких властей о попытке к побегу, чтобы предъявить ее начальству, когда вернется в Россию...

Этот человек попал в плен при сомнительных обстоятельствах и ждал суда над собой по возвращении в Россию. Он сам был не прочь иметь отметку о покушении на побег в своем кондуите и подозревал в этом желании остальных.

Общее мнение было, что затея Кнорра — мальчишество, водевиль с переодеваниями, чепуха, и однако, когда первая часть водевиля стала действительностью и бочка с Кнорром и Пахомовым внутри на руках нижних чинов была благополучно спущена за ворота и поставлена не слишком близко от караулки, настроение изменилось скорее в пользу беглецов.

До темноты оставалось часа три. Вечер был теплый и солнечный и ничем не отличался от других вечеров, как они всегда проходили на форту. Как всегда, в углу, отведенном для тенниса, шумели и носились, отбивая мячи, люди, которых все привыкли видеть здесь в это время, и как всегда люди, занимавшиеся чтением книг, сидели за книгами, а любители длительных прогулок ходили в задумчивости по валам.

Но мысль, что за воротами двое товарищей находятся, быть может, накануне того, что каждый в глубине души считал величайшим счастьем, была в голове у всех, затрагивая даже равнодушных. Конечно, беглецы еще никуда не убежали, но они были *за воротами*.

— Я готов допустить удачу, — в раздумье сказал человек, считавший, что было бы лучше, если б каждый сидел там, где сидит. — Такие вещи удаются или сналета, или совсем не удаются.

Он был в приподнятом настроении, потому что самой малой тени успеха было достаточно, чтобы он забыл свой скептицизм и разочарования. Сейчас он охотно отдал бы все свои полоскания, трапеции и посылки, чтобы поменяться местами с Кнорром.

— Нельзя судить по началу, — сдержанно заметил другой — тот, что с зимы готовился к побегу и изо дня в день приучал себя к лишениям и выносливости. — Если им еще удастся пройти тысячу километров до румынской границы, тогда можно будет говорить об успехе. Мало сказать — пройти тысячу километров. Их надо проползти...

И он снова заговорил о трудностях пути и о том, как легко при этом ослабеть духом и дать себя арестовать лишь для того, чтобы не терпеть лишений. И несмотря на убедительность привычных доводов, он чувствовал себя выбитым из колеи.

В его ранце был предусмотрен каждый пустяк, ежедневная порция из запаса сухарей и общий вес мешка высчитаны с точностью, тело закалено и дух бодрее, чем когда-нибудь, и все-таки он сидел на форту, ожидая случая, который не-

известно когда представится, а люди вчерашнего дня, не имевшие сотой доли его опытности, находились за воротами и ждали только темноты. И он думал, что было бы, если б не Кнорр, а он сам сидел в бочке, снаряженный, ко всему готовый, предусмотревший тысячу случайностей и мелочей.

— Во всяком случае они недурно проведут время, — сказал третий, алкоголик, в представлении которого побег был просто лихой вылазкой в какой-нибудь город поблизости, до первого притона, где можно достать вина и женщин, а потом дать себя арестовать. Он сам думал так и не очень верил, когда ему сказали, что намерения Кнорра и Пахомова идут много дальше.

Молодой человек, желавший простудиться, сидел на солнце в раскидном кресле, с ногами выше головы, держал книгу на коленях, но не читал ее. Им владели мечты. У него была мать дома, но в мечтах он ехал не к ней. Он представлял себя снова на фронте, в опасных и тяжелых положениях, из которых выходил с достоинством, если не с героизмом. Ему не в чем было особенно упрекать себя за то, что он попал в плен, но ему казалось, что другие думают о нем плохо, и он хотел им что-то доказать.

Он был как ребенок. Он совсем забыл ощущения, действительно испытанные им, когда он не в мечтах, а на деле был на фронте, похожие на ощущения мыши в мышеловке, но хорошо помнил то время, когда он только собирался ехать на фронт. Все кругом он видел сквозь светлый туман близкой ожидавшей его смерти, его чувства были обострены, он понимал тысячи вещей, о которых не догадывался раньше и забыл потом; женщины любили его, и за несколько недель приготовлений к фронту у него было больше любовниц, чем за всю предыдущую жизнь...

Теперь он начинал догадываться, что поступил глупо, надолго расстроив свое здоровье: всегда могло подвернуться что-нибудь вроде случая с бочкой...

Белокурый юноша, земляк Кнорра, с которым они вместе пели иногда свои особенные песни, несколько раз в волнении

взбегал на вал и смотрел в направлении бочки. Это была неосторожность, потому что такой необычный интерес к бочке мог бы возбудить внимание часовых. Пожилой офицер, проходивший мимо, позвал его вниз и в резких выражениях указал ему на его промах. Оказалось, что даже этот спокойный человек, всегда подтрунивавший над попытками бежать и злорадствовавший при неудачах, беспокоится за успех беглецов.

И тем не менее в тот же самый вечер, еще прежде чем окончательно стемнело, Кнорр и Пахомов снова вернулись в камеру для того, чтобы, переодевшись в форменное платье, отправиться под арест. Люди из бюро и собственные неуловимые шпионы из пленных не дремали и во-время известили караул.

Караульный начальник, прикрывая шпионов, до поры до времени делал вид, что ничего не знает. Как всегда в караулке, сменившиеся часовые, потные, в расстегнутых мундирах, безмятежно предавались игре в баранью голову, и караульный начальник щелкал картами по столу и отпускал прибаутки громче всех. Но пришло время, когда он вынул часы и, посмотрев на солнце, решил, что с этим делом пора кончить. Он бросил карты на стол, подошел к бочке, постучал в стенку и крикнул:

— Russen, aus!

Оставалось вылезти и проследовать в канцелярию для прочтения протокола о происшествии, повидимому, составленного заранее. Там были только пустые места для фамилий и рядом стояло: в числе трех человек. Это была ошибка шпиона, преувеличивавшего размеры события.

Отношение пленных к происшествию было различным.

— Этого и следовало ожидать, — сказал человек, подготовлявшийся к побегу медлительными и верными способами. — Мальчишество думать, что все дело в том, чтобы выбраться за ворота...

— Интересно знать, кто тут на форту занимается доносами? — сказал алкоголик. — Пока эта сволочь живет с нами, никому не удастся придумать ничего путного...

Пленный, полагавший, что каждому надо сидеть там, где

он сидит, был в своем обычном настроении. Неудача Кнорра лишний раз доказала, что бежать бессмысленно.

— Что же получилось? — с раздражением говорил он кому-то, кто утверждал обратное, но больше всего самому себе. — Из-за того, что два балбеса захотели устроить себе пикник, нам всем теперь нельзя будет ходить по валам...

— Кто собственно этот Кнорр? — спросил еще один. — Знает его кто-нибудь?

И тут кстати припомнили фокус Кнорра с девятками, что он нечист в игре, быть может не офицер совсем.

На этом дело бы и кончилось, если бы не одно осложнение.

Пахомов, уходя под арест, успел шепнуть одному приятелю несколько слов насчет бочки, в которой они сидели, что ее надо хорошенько прополоскать прежде чем наливать водой, что об этом надо с самого утра заявить коменданту.

— Почему? — спросил приятель.

Пахомов наспех объяснил почему и, объясняя, имел сконфуженный вид.

Он не успел рассказать подробностей, но они моментально стали ясны всем.

— Этого еще нехватало, — сказал один с величайшим раздражением. — В бочку, из которой все пьют воду, напустить чорт знает чего!..

— Ничего удивительного! — сказал другой со смехом. — Молодые люди накупили на дорогу шоколаду, сидели в бочке три часа... Им некуда было деваться...

— И заметьте, — прибавил третий, — при всей этой чепухе они считают себя героями. Вот что меня злит больше всего...

Человек, желавший в своем будущем побеге избежать всякой чепухи и всяких гибельных неожиданностей, давно все обдумавший и подготовивший, был затронут происшествием с другой стороны.

— Вся эта история показывает только, — сказал он, — как много мелочей надо предусмотреть, чтобы поставить дело на правильный путь. Ни вы, ни я, ни они сами не предполагали,

что может случиться что-нибудь подобное... Между тем жизнь не спрашивает нас и идет по-своему...

— Теперь представьте, — перебил его еще один, — что было бы, если б побег удался. Они бы исчезли. Никто не сказал бы нам, что бочка загажена, и мы пили бы мутную воду, даже не зная, отчего это происходит... Разве это не подлость? Разве за такие штуки не следует бить морду?..

И многое другое в этом же роде.

ПЛЕННЫЙ СНЕЛЬ

1

Человек, к которому пленного Снеля отдали в работники назывался Карл Фурман. Жил он в деревне Комиц, в округе Нейсе в Верхней Силезии. Другие пленные, товарищи Снеля, работавшие в Комице, завидовали ему и говорили, что во всей деревне не найти хозяина лучше и справедливее Фурмана. Сам же Снель совсем не находил этого, тяготился работой у него и часто думал о том, как бы убежать из Комица.

Дело было в том, что он не умел работать; прежде он никогда близко не подходил к лошадям, не держал в руках вил, был слаб и не подавал надежды стать когда-нибудь сильнее.

Когда конвойный впервые привез Снеля к Фурману, он после лагерного голодания имел весьма тощий вид. Он так плохо выглядел, что Иоганна, жена Фурмана, посмотрела на него с жалостью и сказала, что ему лучше не есть много сразу, потому что она слышала, что голодный человек может умереть, если ему дадут много есть. Снель возразил, что его дело не так еще плохо, и доказал это, съев без вреда для здоровья несколько больших ломтей хлеба с маслом.

Конвойный сам понимал, что привез Фурманам неважный товар, и чувствовал их разочарование.

— Во всяком случае, — сказал он, напившись кофе и собираясь уходить, — вам будет легко с ним говорить. Он понимает по-немецки.

Он вынул из берданки единственный патрон, заложенный на случай побега и теперь бесполезный, потому что Снель был сдан Фурману на руки, и поплелся на станцию.

Дело было к вечеру, и в этот день не успели испытать Снеля в работе, хотя он чистосердечно признался, что в работе он несколько неопытен. Успели только заметить, что на лошадей он смотрит, как на невиданных чудовищ, старается не стоять близко около их задних ног, и что, когда его заставили крутить соломорезку, он на третьей минуте побледнел и чуть не упал в обморок. Это были все нерадостные признаки.

Хуже было то, что за ужином в этот вечер он завел какие-то странные разговоры. Он полагал, что каждого немца прежде всего интересует литература и музыка, и заговорил о Шиллере, Вагнере и обо всем том, о чем он читал в лагере, но с удивлением увидел, что на лицах его хозяев не отражается ничего, кроме непонимания и горестного разочарования. Впоследствии, когда он ближе познакомился с этими людьми, он понял, как глупо было с его стороны чуть ли не с первого слова заводить разговоры о Шиллере и о чем-нибудь подобном. Потому что, если прежде тут и были того мнения, что даже такого слабого и неопытного человека, каким был Снель, можно все-таки откормить, сделать сильным и научить работать, то теперь, когда выяснилось, что в голове у него такие штуки, на него оставалось только махнуть рукой. А ведь Снель, заговорив о Шиллере, в сущности делал Фурманам уступку: он допускал, что, вследствие удаленности Комица от столиц, они, пожалуй, незнакомы с вещами более современными. Иначе он заговорил бы с ними о Штраусе или о Гофманстале.

Даже то, что он понимал по-немецки, было скорее отрицательным признаком. Лучше бы он не знал ни одного немецкого слова, не умел бы говорить вообще ни на каком языке, был бы глух и нем, но обладал бы простым сердцем и сильными руками. А такой, каким он был, слабосильный, хмурый, неизвестно о чем думающий человек, он был явно не на месте, был несчастен и впоследствии должен был не-

избежно поддаться искушению бежать. А в этом главном пункте интересы семьи Фурман совершенно противоречили интересам Снеля.

Если бы Снель действительно убежал от них, им никогда никого на его место не прислали бы. Снель же как-раз для того и напросился ехать в эту местность, чтобы отсюда подстроить побег через австрийскую границу. Это было единственно важным делом во всей его теперешней жизни, и вопрос о том, вправе ли он ради благоденствия какой-то чужой крестьянской семьи откладывать исполнение своего главного желания — он в разное время решал различно. В зависимости от того, было ли это после разговора с Фурманом, во время которого Снель последовательно и молниеносно сокращал назначенный для побега срок — с двух месяцев до одного, до двух недель, до десяти, пяти дней, пока не кончал: „завтра", — или же он находился под впечатлением разговора с старой Иоганной или с Анной, младшей дочкой Фурмана, когда он, наоборот, был склонен этот срок отдалять вплоть до совсем неопределенного времени.

Вскоре по приезде он почти приготовился к побегу и даже перенес мешочек с сухарями из казармы в сарай во дворе Фурмана и спрятал его в соломе в кузове старых саней; но оказалось, что в этом самом кузове клала яйца одна наседка, и Анна, придя за яйцами, нашла и мешочек.

Дело было ясно. Снель собирался бежать. Можно было сказать об этом старику Фурману и переполошить его на долгое время. Можно было показать мешочек конвойному, и он счел бы своим долгом явиться во двор к Фурманам и прикладом выбить из Снеля всякие ненужные мечтания. Но можно было также никому ничего не говорить и постараться подействовать на Снеля убеждением. Женщины так и сделали, и в тот день, когда старик с племянником уехали в город, все втроем явились в конюшню, откуда Снель вывозил миниатюрные тачки навозу, и приступили к нему с допросом.

— Вальдемар, это ты положил в сарай мешочек? — спросила Иоганна, протягивая мешочек, который Снель узнал сразу.

— Я, — отвечал Снель, помолчав. Отнекиваться было бы бесполезно. Раскрытие его тайны тяготило его.

— Ты хочешь бежать? — продолжала Иоганна, приступая к сути дела.

Снель молчал, потому что ничего другого ему не оставалось делать.

— Не бегай, Вальдемар, — заговорили мать и дочери вместе, и лица у них стали просительными. — Подумай о нас. Отцу шестьдесят семь лет, в доме нет работника. Если ты убежишь, нам никого не пришлют на твое место, и некому будет ни пахать ни косить.

— Мы знаем, тебе приходится плохо, — добавила Анна искренно и горячо, — но и нам не лучше. Мы терпим, терпи и ты, пока тебя сменят.

В дальнейшем они предложили ему что-то вроде условий. Его не будут заставлять ни таскать мешков, ни молотить цепом, ни делать другой тяжелой работы. Женщины об этом позаботятся. Что же касается пищи, то пусть он не думает, что он не зарабатывает своего хлеба, пусть говорит, если ему что-нибудь надо, ему не откажут. От него же требуется только ждать, пока его сменят.

Снель молчал, но было похоже, что он соглашается. Внутренно он был размягчен и был готов ждать, тем более что стояла зима, а бежать зимой все равно было бесполезно.

Какая-то странная усмешка мелькнула на лице Иоганны, когда женщины уходили, оставив Снеля с опущенной головой и в настроении самоотречения, — и это задело Снеля. В конце концов это были только хитрые, себялюбивые, плаксивые крестьяне, которые в январе беспокоились о том, что в июле у них некому будет косить, и отравляли беспокойством жизнь себе и другим. И ради этого Снель должен был пропустить удобный момент, чтобы затем быть великодушно отправленным в лагерь за десять проволок и на голодное существование.

Условия также не соблюдались. Снель таскал мешки и молотил цепом. Он сам подставлял спину и ввязывался во всякую работу, стараясь делать все, что был в силах. Но никто

не говорил ему, чтобы он не делал того или другого, а с молотьбой было даже много неприятных минут, потому что он не просто стоял согнувшись, двигая только руками, как делали все остальные, а при каждом ударе сгибался и разгибался, точно кланяясь кому-то, и это вызывало улыбки у девушек, а у Снеля — раздражение.

Поэтому очень часто бывали минуты, когда он считал себя свободным от всяких обязательств и думал только о подходящем случае. Но случай этот мог представиться ему не раньше весны.

2

В доме Фурмана редко смеялись. Было похоже, что прежде семья жила веселее и что люди они по природе были совсем не угрюмые. Но однажды, года полтора назад, пришло известие, что оба сына убиты на войне, и с тех пор и старики и дочери еще не совсем пришли в себя. Анне по молодости случалось улыбаться, но, когда она улыбалась, всегда казалось, что она сейчас же заплачет. Иоганна была во власти каких-то неподвижных мыслей. Старик хандрил, капризничал, без толку пропадал из дому.

В ящике стола лежала фотография, которая иногда извлекалась на свет. Она изображала двор и семейство Фурмана несколько лет назад. Господин Фурман представлял тогда собою бодрого старика, Иоганна еще не была так согнута, точно перешиблена пополам, как теперь. Анна выглядела подростком, Хедвиг казалась много свежее. Была еще четвертая женская фигура — старшая дочь, которая потом ушла в монастырь монахиней — сестрой милосердия, с обетом никогда не выходить за ограду монастыря. Были двое мужчин — сыновья, один высокий без шапки, с начинающей лысеть головой и с открытым выражением лица, другой помоложе, белокурый, с выпученными глазами, стоявший навытяжку. Лошади также были выведены из конюшни и сняты на фотографии, но это была пара рослых белых лошадей, а не те два шиммеля, что стояли сейчас в конюшне у Фурмана.

Сейчас господин Фурман, если присмотреться к нему поближе, представлял собою иную фигуру. Это был раздражительный, небольшого роста старик, с массой красных жилок на лице, с набрякшим от алкоголя носом и узловатыми веками. У него была петушья нога, и он выступал с важностью, которая Снелю казалась забавной. В сношениях с посторонними ему была свойственна корректность и та благородная сдержанность, которая удивляла Снеля, привыкшего видеть старика придирчивым, хмурым, устраивающим истории, вызывавшие у домашних и смех и слезы.

Иоганна много молилась богу и нередко затемно ходила в монастырскую церковь к первой обедне. Снель находил естественным, что мать, потерявшая сыновей, молится богу. Но потом он узнал, что и его имя также упоминается в этих молениях: Иоганна просила, чтобы бог послал мир измученной семье, чтобы старик не падал духом, чтобы дела в хозяйстве пошли лучше и чтобы на место Снеля им прислали другого пленного, настоящего работника. Кроткая Анна сама сказала Снелю, что мать молится таким образом, и советовала и Снелю молиться о том же, потому что так будет лучше и для них и для него.

Снель вспоминал детство.

Годам к шести, осиротев, он очутился на руках у бабушки, норовившей по бедности сплавить его в казенное учреждение. Та также ходила к ранней обедне, водила с собой Снеля и там между прочими молениями, с жаром и слезами, громко с колен шептала:

— Матерь божия, сними с меня этот крест! Заступница всесветная, облегчи мою ношу!

И обеими руками подталкивала Снеля к образу, словно показывая его богородице. Снелю и тогда уже не нравилось быть чьим-нибудь крестом, теперь же, когда через много лет на другом конце земли повторилось с ним то же самое, он был удручен.

И хотя для семьи Фурманов он был действительно крестом, посланным в дополнение к остальным их несчастьям, со стороны Иоганны он всегда видел только ласковые улыбки и

вечное снисхождение. И если за столом случалось ему искать чего-нибудь глазами, соль или нож, Иоганна почти испуганно спешила узнать, что ему нужно. Она сама выкапывала для Снеля из шкафов теплые фуфайки и носки и требовала, чтобы он надевал их. И если случалось, что Фурман посылал Снеля колоть дрова, а в это время с гор дул ветер, и в том месте, где работал Снель, за углом сарая, от него не было защиты, выходила из дому Иоганна, убеждалась, что Снель стоит на сквознике, и шла к старику, говоря, что нельзя заставлять пленного работать на ветру, что надо дать ему другую работу. Старик не противоречил, и Иоганна посылала Снеля в комнаты чистить медные бляхи на хомутах или в погреб отбирать картошку, а чаще всего в коровник, где в это время вообще нечего было делать.

Если же Иоганна забывала позаботиться о Снеле, за это дело бралась Анна, младшая дочь. Некоторые вещи, повидимому, просто лежали на ее обязанности — выносить ему хлеб с маслом на второй завтрак, звать его обедать или кончать работу, и Снель замечал разницу, если Анны не было дома и хлеб для него мазала Хедвиг — тогда и ломоть выходил меньше и масла на нем было едва-едва.

Анна была его главной заступницей в доме, и если старик за столом вдруг поднимал воркотню, она цыкала на него как на гуся, а если это не помогало, начинала плакать. Она была доброй по природе, а кроме того считала, что Снеля не надо раздражать, потому что тогда на зло им он убежит, и им никого не пришлют на его место. Этот его возможный побег она постоянно имела в виду, не верила Снелю ни в одном его слове и была его самым главным и осторожным шпионом.

У нее было милое, выразительное лицо, которое никогда не оставалось спокойным. Ее волнения были восхитительны и вызывались причинами самого невинного свойства. Неожиданно развязавшийся посреди двора сноп мог вызвать у ней слезы. Болячка на ноге у лошади держала ее в подавленном настроении несколько дней. Успехи и неуспехи Снеля в работе вызывали у нее самые разнообразные чувства, от надежды до отчаяния, и все в самой высокой степени.

Некоторые вещи приводили ее в восторг. Так было, например, когда у соседа подпилили огромное дерево и с грохотом повалили его на землю. Она восхищалась этим весь день, а о людях, совершивших это, двух забракованных для военной службы инвалидах, говорила как о героях. Рассказывая о своих впечатлениях Снелю, она наивнейшим образом дала ему понять, как низко стоит он по сравнению с этими людьми, потому что едва ли он способен на такие вещи. В этой жизни надо было уметь делать и то, и другое, и третье. Человек, который умел пилить деревья, направлять сеялку и косить, был лучше человека, который умел только косить и направлять сеялку. Человек же, который ничего этого не умел, был никудышным, его не стоило любить, и на такого человека она смотрела, как на тухлое яйцо.

Снелю она всегда старалась на примере показать, что работа никогда не бывает грязной, и если Снель во время уборки коровника показывал ей на брызги навозной жижи, попавшие на ее руки, открытые выше локтя, она с гордостью и удовольствием объясняла ему, что грязи при работе бояться не следует, что без этой самой навозной жижи не будет ни хлеба ни картошки, что поэтому ею не надо пренебрегать.

Когда Снель по неопытности заговорил с нею о Шиллере, она быстро остановила его излияния одним замечанием.

— Мы простые деревенские люди, — сказала она не без кокетливой гордости, — нам это ни к чему.

В школе за восемь лет она переучила не мало стихотворений Шиллера, но считала, что теперь их пора забыть. А еще позже он услышал, как она рифмовала „профессор“ с „бротфрессер“.

В некоторых отношениях она была невинна до последней степени. Однажды они были одни на пашне и собирали камни, когда в монастыре зазвонили к „Аве Мариа“. Оба остановились, прислушиваясь, Анна перекрестилась, а Снель, отвечая своим мыслям, вдруг заговорил о том, что на свете есть не мало людей, которые не верят в бога.

— Разве такие люди бывают? — спросила Анна с удивлением и недоверием.

— Сколько угодно! — ответил Снель и, не приводя в пример себя, посоветовал ей съездить в Берлин, утверждая, что их там три миллиона.

— Этого не может быть, — сказала Анна с уверенностью, считая басней его рассказы о людях, не верящих в бога. Когда он рассказывал, как в России он занимался тем, что играл на скрипке в большом оркестре, а спать ложился по большей части на рассвете, — она это тоже считала басней.

Снель все-таки думал, что если б он поцеловал эту невинную во многих отношениях девицу, то она не оказалась бы совсем неопытной в этих делах. Было в обычае, работая на соломе, шутя толкать девушек в объятия мужчин. Анну всегда подталкивали к Снелю, и она улыбалась, но руки Снеля как-то не замыкались вокруг ее тела, и она выскальзывала из них, может быть даже с сожалением. Хедвиг и Антон смотрели на ротозейство Снеля с негодованием и кричали ему:

— Pack um! pack um! (обними! обними же!)

Хедвиг раздражала Снеля тем, что считала его немного блаженным, сердилась на него и говорила „пфуй" с гримасой отвращения и отплевываясь. Снель платил ей тем, что совершенно лишал ее своего поклонения и относился к ней, точно она не шла в счет. Кроме того, он знал ее самую большую тайну, потому что однажды вошел в комнату, где она сидела перед зеркалом, разыскивая и вырывая у себя седые волосы: она очень смутилась, увидев Снеля, а потом рассердилась и сказала „пфуй"...

Антон был племянником Иоганны и жил у Фурманов в ученьи. Он только за полгода перед тем перестал ходить в школу. Снель проэкзаменовал его и убедился, что он ничего не знает о Шиллере и даже забыл заповеди. Ему была свойственна методичность в уходе за своим платьем, которое он ежедневно чистил, а сапоги свои он смазывал конским жиром и носил с такой осторожностью, что они и через четыре года еще не порвались. Из той же любви к порядку он считал нужным методически ругать Снеля во время работы, так как по работе он был старше его. И если слу-

чалось, что клок навоза торчал из борозды, тогда как полагалось забивать его в самую глубь, он, не выпуская плуга, поворачивался к Снелю и, надувая пухлые щеки, кричал: „Ферфлухт!“ — что означало проклятие. Если та же история спустя немного повторялась, он снова поворачивался и проклинал его еще раз в усиленной степени:

— Ферфлухт но а моль!

Снель усмирял его, предлагая ему папиросу или купив для него пару конфет в деревенской лавке. Против конфет он не мог устоять и, вкусив их, уже не считал возможным в этот день ругать Снеля.

— Благодарю тебя, — говорил он, съев конфеты с искренним удовольствием.

А вечером, провожая Снеля в казарму, считал нужным еще раз вспомнить об этом:

— Еще раз благодарю тебя за конфеты, — говорил он, — они были превосходны.

У Антона была одна удивлявшая Снеля черта. Иногда ему случалось спрашивать его, как зовут того или другого человека, которого он знал только по виду. Всякий другой ответил бы на это деловито и без тени лиризма, что имя такого-то Макс Иеккель, а такого-то зовут Пауль Бадер, и это звучало бы определенно и не вызывало бы раздумья.

Манера Антона называть имена была совершенно особенной. Он размякал при этом, делался неузнаваемым, задумчивым и интимным.

— Его зовут Макс Иеккель, — говорил он после улыбок, раздумья и с такими колебаниями, точно это имя было сомнительной хрупкой фикцией, которая неизвестно почему была присвоена этому человеку. — Да, да, Макс Иеккель — его имя.

Снель взглядывал на него с удивлением. Так необыкновенно это у него выходило.

— А как зовут тебя, Антон? — спросил он однажды. — Как твоя фамилия?

— Меня зовут Антон Фрост, — ответил он, и его раздумье и колебания были бо́льшими чем когда-нибудь, точно

это была совершенно сомнительная вещь, что он Антон и что он Фрост.

— Да, да, Антон Фрост — мое имя, — повторил он с увеличившейся уверенностью. Ласковая, снисходительная улыбка была на его лице. Он извинял людям их милую слабость давать друг другу имена, слабость, благодаря которой у него тоже оказалось свое имя, но он не понимал ее.

Человек, которому от присутствия Снеля приходилось горше всех, был сам Фурман. В первый день он повел Снеля в амбар, свесил его на весах. Снель весил до жалости мало. Но старик, казалось, не был этим огорчен.

— Так, так! — сказал он с таким видом, точно этого и следовало ожидать, но что впереди есть надежда. — Вот посмотрим, сколько ты будешь весить через месяц.

Он показал Снелю, как надо пилить дрова, не надавливая на пилу, чтобы она шла свободно, и через час пришел посмотреть на плоды Снелевых трудов. Куча дров едва увеличилась, но зато Снель был весь в поту, а на руках у него появились пузыри. Он не без гордости показал их старику, чуть ли не ожидая за них его одобрения. Но старик, повидимому, был того мнения, что тут не за что хвалить, скорее надо жалеть, что руки Снеля до сих пор оставались такими нетронутыми. Рядом с рукой Снеля он поставил свою руку, настоящую руку трудового человека, где мозоль сливалась с мозолью, а все вместе составляло желтоватую бугристую оболочку, нечувствительную больше ни к каким раздражениям.

— Барабанная шкура! — сказал он, страшно довольный теперешним состоянием своей руки. — Троммельфель!

— У тебя тоже будет когда-нибудь такая, — обнадежил он потом Снеля.

Было ясно, что старик, говоря так, смотрел в будущее, имея в виду, что из Снеля со временем что-нибудь образуется. В этот вечер он предложил ему сигару и затеял с ним дружеский разговор, который Снелю на три четверти остался непонятным, потому что старик то и дело сбивался на диалект.

Такую же сигару он дал ему и на следующий вечер. Но в дальнейшем охота дарить пленному сигары пропала у него.

На пятый день он впервые назвал Снеля размазней. А еще через день он сел составлять свое первое заявление в инспекцию военнопленных, где, упомянув сначала о том, что оба сына убиты на войне, переходил к огромному значению сельского хозяйства в тяжелые годы войны, из чего вытекало, что имеющегося у него пленного Снеля необходимо заменить каким-нибудь другим пленным, более пригодным к работе, так как без надежного работника его хозяйство должно будет пропасть.

Неспособность Снеля с каждым днем обнаруживалась яснее и возмущала его душу, и скоро старик почти не мог без раздражения видеть этого горбящегося, съеженного, рассеянного человека, который рубил дрова с такой осторожностью, точно его задача была производить при этом как можно меньше шума, и который считал, что уже поработал, если подмел двор или отнес сена коровам.

Иногда, побеждая себя, он подходил к Снелю, когда тот возился с каким-нибудь суковатым поленом, норовя хоть с какой-нибудь стороны проделать в нем щелку, и говорил ему добродушно и убедительно:

— Смотри, Вальдемар, ты весь в поту, но полено осталось таким, каким было. Когда ты рубишь дрова, Вальдемар, надо, чтоб тебя было слышно у седьмого соседа. Вот смотри, я тебе покажу.

И он брал это же самое полено и с наскока, с сипом и хрипом, в пару минут обращал его в щепы. Покончив с одним, подкладывал другое, но тут оказывалось, что на первом полене он уже весь выдохся. И, размахнувшись топором, он вдруг опускал руку и передавал топор Снелю.

— Ну, работай, — говорил он, стараясь отдышаться. — Теперь ты видел...

А Снель делал из этого только тот вывод, что таким темпом, как показывал старик, можно работать несколько минут, но никак не целый день, и только укреплялся в своей позиции неторопливого нешумливого дровосека.

Или старик подходил к Снелю, когда тот пилил дрова, ерзая с быстротой серединкой пилы по толстому обрубку, и некоторое время наблюдал его со стороны.

— Если ты пилишь с кем-нибудь вдвоем, — начинал он кротко и даже улыбаясь, — твое дело только тянуть пилу на себя... Тянуть до самого конца... Если ты будешь надавливать, пила пойдет вкось...

Он брался за другой конец пилы, и некоторое время они пилили в молчании.

— Ты надавливаешь, Вальдемар, — говорил старик плаксиво через минуту, — ради бога не надавливай...

Снель терялся и едва дышал, боясь как-нибудь надавить или покривить пилу.

Странным образом, чем дольше они пилили, тем более начинало Снелю казаться, что если кто из них двоих надавливает, то это именно старик, а не он. И он начинал поглядывать на старика иронически, а вечером за столом даже рассказывал намеками, что бывают иногда забавные недоразумения. Например, два человека, не видя друг друга из-за угла, бегут и сталкиваются лбами, и каждый обязательно считает виноватым другого, хотя, если подумать, оба виноваты одинаково. Или когда два человека пилят бревно и пила плохо идет, каждому кажется, что это другой портит дело, сам же он тут ни при чем. Это все ошибки зрения.

Старик был не дурак и понимал намеки, но не столько сердился, сколько огорчался. Он убеждался понемногу, что Снель не только плохой работник, но еще и глупый, упорствующий в заблуждениях человек, питающий какие-то претензии там, где ему надо лишь учиться и учиться...

Или Иоганна с целью развлечь старика говорила ему, что вот-де Снель в последнее время старается и даже научился делать вполне приличные прясла. Она предлагала ему посмотреть, как он работает в коровнике. Старуха говорила не наобум, а после того, как Анна много раз за делом и без дела побывала в коровнике и перетряхнула Снелевы прясла с разных сторон. Анна не находила в них недостатков, и по школьной привычке определяла их „befriedigend gut“, что значило „удовлетворительно“, но работа Снеля вообще внушала ей так мало доверия, что ей все-таки приходили в голову сомнения.

— Вальдемар, — говорила она, пугаясь, не слишком ли она его захвалила, — вообрази только, что вдруг во время жатвы они все начнут рваться...

Это было самое ужасное, что она могла себе представить, и жест, который она при этом делала, очень подходил бы для первой ученицы, воображающей свой полный публичный провал на экзамене.

Старик редко заглядывал в коровник, но однажды, услышав об успехах Снеля, пришел взглянуть на его работу. Он явился в благодушном настроении, готовый к одобрению, но очень скоро лицо его омрачилось. Он взял один поясок из кучи и смерил его на длину раскинутых рук.

— Слишком короткий! — сказал он, для начала без плаксивых нот, — им ничего не завяжешь!..

Он смерил таким же образом другой. Этот был в меру длинен, но зато толща соломы чересчур свободно проходила в кольце между его большим и средним пальцами.

— Слишком жидкий! — вскричал он с нарастающим негодованием. — Он не будет ничего держать...

Третий поясок был в меру длинен и в меру толст. Снель думал, что тут уже ему нечего будет сказать. Но старик попробовал крепость среднего узла и дернул поясок за концы так, что узел затрещал.

— Он порвется! — затянул он ноющим голосом. — Он обязательно порвется!

Казалось, он был бы теперь огорчен, если б нашел хоть один вполне хороший поясок, и его мнение, что Снель никогда и нигде не может сделать ничего порядочного, было бы поколеблено.

— Никуда не годятся! — кричал он чуть не плача, но с торжеством, хватая из кучи то то, то другое. — Все никуда не годятся...

Он смерил на-глаз всю уйму сделанных Снелем поясков, связанных в шоки, по шестьдесят штук, определяя, сколько на это пошло соломы.

— Что тут происходит! — вопил он, оглядываясь, словно е понимая, куда он попал: — что тут только происхо-

дит! Человек переводит солому возами. Никто не смотрит...

И он ушел в дом с горестным видом человека, которого объедают и разоряют и который ничего с этим не может поделать.

3

Прежде чем послать свое заявление в инспекцию, Фурманы решили посоветоваться с уездным комендантом военнопленных. Это был белокурый немецкий подпрапорщик, с железным крестом на ватной груди, которого Снель видел однажды. Когда его везли из лагеря к Фурманам, его по дороге завозили и к подпрапорщику на его городскую квартиру, где помещалась его канцелярия. Снель простоял там несколько часов на ногах, от нечего делать разглядывая через неприкрытую дверь обстановку в комнатах подпрапорщика и читая на стенах вышивки с надписями нравственного содержания. Там между прочим над кроватью он увидел большой ковер с узором из цветов по краям и с вышитой надписью посредине о том, что высшее назначение человека на земле — это сеять цветы добра...

Те цветы, которые сеял подпрапорщик между подчиненными ему пленными, были едва ли цветами добра. К нему приводили беглых пленных для допроса, и он встречал их не очень любезно. Каждого беглого русского пленного он считал чем-то вроде изменника немецкому императору, и когда какая-нибудь заморенная карцером фигура появлялась перед его столом, он в течение некоторого времени рассматривал ее пристальным грозно-презрительным взглядом, в котором был также и оттенок укора. „Свинья от головы до пят", — резюмировал он свое впечатление от особы военнопленного и, отведя от него взгляд, приступал к писанию протокола:

„......декабря 1916 г. Для допроса является военнопленный......., русской национальности, год рождения 18..., рядовой N полка N дивизии, взятый в плен при.......... в 1915 г. и находившийся на работе в ...... при команде

№. . ., который об обстоятельствах побега показывает следующее. . ." Он редко излагал обстоятельства дела в пользу беглых и был большой любитель возить бежавших из казарм на место совершения побега, где снова заставлял их у себя на глазах пролезать через те щели, через которые им удалось уйти. Для строптивых и рецидивистов в его доме была камера, где им внушали покорность, причем и сам подпрапорщик в некоторых случаях пускал в ход свои миниатюрные кулаки, облачив их из предосторожности в перчатки. Кое-к кому он применял также особые наказания — заставлял приседать на корточках в течение часа с поленом на вытянутых руках, причем уставших подбадривал саблей в ножнах.

Он произносил перед пленными речи, тут же переводившиеся переводчиком, в которых доказывал бессмысленность их стремления к побегам по трем причинам. Во-первых, успех побега вообще невозможная вещь — „Аусгешлоссен!": беглых всегда ловят, и им только приходится отбывать арест; во-вторых — благодаря побегу одного налагаются репрессии на остальных, так что беглые грешат против товарищества, а в-третьих, потому, что при поимке часто подымается стрельба, пули редко бьют мимо цели, и пленный легко может переселиться в иной мир.

— А оттуда, — говорил он, выразительно показывая на небо, — каждый, конечно, может писать письма. . .

В присутствии подчиненных подпрапорщику была свойственна величественность, причем малый рост искупался нахмуренными бровями и грозным выражением лица. Ему случалось отдавать приказания и вдруг, еще не кончив говорить, впадать в рассеянность и задумчивость, вызванные, повидимому, очень важными, пришедшими ему в голову, мыслями, и сидеть так минуту или две и только потом возвращаться к прерванному приказанию. Или же случалось, что, покончив с делами, он вставал с места и уже почти скрывался за дверью, как вдруг возвращался нахмуренный, озабоченный, вынимал из кармана записную книжку, тут же прятал ее назад, даже не раскрыв ее и, повидимому, уладив дело без этого, и уже после всего этого скрывался за дверь оконча-

тельно. Все это под почтительными взглядами своих унтер-офицеров, которые едва успевали расступаться перед ним при его уходах и возвращениях.

Что касается цветов добра, сеять которые было высшим назначением человека на земле, то возможно, что эта надпись над его кроватью не имела к нему отношения и была обязательна лишь для его жены, молодой, начинающей расплываться женщины, которая действительно, заходя иногда в канцелярию и видя, что какой-нибудь допрашиваемый от долгого стояния на ногах готов упасть на землю, возвращалась со стулом для него и говорила: — „Пусть пленный сядет...“, или приносила стакан воды, что было безусловно актом милосердия, если принять во внимание, кто такая была „фрау оффицирштелльфертретер“ и кто были все эти разнесчастные пленные.

Фурман, подавая свое заявление о замене Снеля другим пленным, возложил миллион надежд на благоприятную резолюцию подпрапорщика. Были сделаны шаги, чтобы напомнить ему о себе, и конвойный, в одно из служебных посещений канцелярии, занес его жене сверток с несколькими фунтами масла. Она долго отказывалась принять этот подарок и взяла его только после упрашиваний, растроганная до слез тем, что семейство Фурман так любезно к ней. Подпрапорщик поддержал ходатайство Фурмана, и тем не менее старику было отказано. „Там“, в Бреславле, решительно не любили никаких перемещений.

4

Зимой по утрам Снель просыпался рано, еще в темноте, по крику конвойного „Ауф!“ Это были неприятные моменты его жизни. Не было случая, чтобы он не согласился поспать еще, и очень часто он пробовал полежать еще минуту с закрытыми глазами. Если он продолжал лежать и дольше, товарищ толкал его в бок.

— Вставай, Снель, — говорил он сиплым от ночного чада голосом, — все равно, перед смертью не надышишься...

Через пять минут после первого сигнала все должны были быть одетыми и готовыми к выходу. Мокрые со вчерашнего сапоги не лезли на ногу в портянке, и Снель после первой попытки надевал их на босу ногу, а портянки прятал в карман.

Команда, еще сонная, топоча сапогами по мостику через ручей, выходила на улицу. Двенадцать человек направлялись в одну сторону и с ними шел конвойный, двое — Снель и еще один — шли налево. Конвойный не провожал их, он только смотрел, как они подходили к воротам своих хозяев.

Можно было войти в калитку, пройти на кухню и сказать: „Гут морген“. Но можно было также взять вбок, пройти мимо гумна Фурмана и свернуть на полевую дорогу к границе. Снелю такая возможность иногда казалась соблазнительной, но по размышлении он всегда отклонял ее. Около гумна лежал кучами хворост, — стоило ему наступить хоть на одну сухую ветку, чтобы звук был услышан у Фурмана. Вся округа уже знала, что пленных вывели из казармы, и где-нибудь во дворе уже стояла Анна, его милый шпион, и поджидала его. Если б он задержался на две-три минуты, этого было бы достаточно, чтоб Антон выехал на дорогу на розыски. Кроме того существовала собака Ролло с отличным нюхом. А через полчаса пришли бы в движение „телефонери“, „жандармери“ и все то множество, которым коменданты пугали пленных, доказывая им, что бежать бесполезно. Тем временем светало бы все более и более, и к началу дня Снель неизбежно должен был бы обнаружиться где-нибудь, беспомощный на этой открытой равнине, и, кроме слез и смеха, ничего бы из всей истории не вышло.

Снель входил в калитку, которую всегда кто-то уже успевал открыть к его приходу, проходил на кухню, где под котлом с водой был разложен огонь, а вода была нагрета настолько, что можно было нести ее в коровник для месива. Чтобы проявить деятельность, он подбрасывал в топку угля.

— Ist's schon warm genug? [1] — каждый день одними и

[1] Горячая уже?

теми же словами спрашивала Иоганна, внося в кухню подойник.

— Es wird bald kochen,[1] — каждый день с одними и теми же ошибками в произношении отвечал Снель.

Только один раз за все время случилось, что он явился к хозяевам, прежде чем в доме проснулись. Но к его удивлению оказалось, что это был как-раз единственный случай со времени детства девушек, когда они встали позже пяти часов. Они сами говорили об этом как о забавной оплошности и не понимали, как это могло с ними случиться. Анна с горячностью уверяла, что уж наверное с нею больше никогда ничего подобного не случится.

Эта горячность и благонравие казались Снелю забавными. Шутя он спросил, не была ли она в школе первой ученицей. Оказалось, что она действительно в школе была первой, и тогда стало понятным, почему иногда она беспокоилась, что не кончит чего-то к какому-то сроку, смотрела на часы, менялась в лице и схватывала работу, точно существовало какое-то расписание, которому надо было следовать. Понятным стало также, почему она так часто говорила Снелю: „Ты должен", а о себе еще чаще: — „Я должна".

Когда последнее ведро горячей воды было влито в месиво, а вся бочка сверху донизу размешана опытнейшей рукой Иоганны, начиналось кормление коров. На обязанности Снеля лежало разливать ведра по яслям, и он делал это с удовольствием.

Коровы были для него, как и лошади, существами из незнакомой ему области, но они не лягались, были сонливы и задумчивы. Он до такой степени мало знал их, что только после недели хождения в коровник заметил, что они иногда лежат и жуют что-то губами, хотя ясли перед ними пусты. Он остановился перед таким явлением в изумлении и только потом, пораскинув памятью, сообразил, что это самое и называется пережевыванием жвачки и что об этом говорится в учебниках.

---

[1] Сейчас закипит.

Бычки забавляли его своим баском и своей ранней солидностью. В первые дни, пока ему не сказали, что бычкам надо наливать и справа и слева, он наливал им только с одной стороны, а бычки поворачивали головы и смотрели на него высокомерно-удивленным взглядом.

— Этот идиот должно быть не знает, что мы получаем и справа и слева, и еще раз справа и еще раз слева. Боже, какого идиота прислали нам в коровник...

В дальнейшем Снель старался загладить свою ошибку перед бычками разными поблажками. Перед ними он долго чувствовал себя виноватым.

Вычерпав гущу, Иоганна набирала в ведро месива пожиже.

— Для маленьких... — говорила она ежедневно с одной и той же улыбкой.

У телят были трогательные, синие с мутной пленкой глаза, и они всегда беспомощно сбивались в кучу, набегая друг на друга и мешая Снелю пройти к корыту, с какой бы стороны он ни подходил. Они опускали мордочки в пойло играючи, с равнодушным видом, но, распробовав, приходили в одушевление и начинали есть как следует, обязательно отфыркнувшись, отбрыкнув задней ногой и отмахнувшись хвостом, точно приглашая какие-то досаждающие им невидимые силы не мешать им, потому что они заняты.

Коровы вели здесь однообразное существование. Они могли стоять или лежать, делать два шага вправо и влево на длину цепи, но больше этого они уже ничего не могли делать и годами не сходили со своего места в коровнике. Только осенью в течение недели их выгоняли на несколько часов на жнивье.

Происшествий в коровнике не случалось. Разве случай, когда одна пегая корова ночью отвязалась со своего места, подошла к бочке с киснущим с вечера месивом, столкнула с нее крышку, проявив при этом много сообразительности, потому что крышка была приперта табуреткой, которая, в свою очередь, была подогнана вплотную под кран водопровода, и все сооружение вместе представляло затруднение даже и для человека, и наелась месивом до обалдения, воз-

буждая волнение и мычание своих собратий. Утром, когда пришли с фонарем, порядок был восстановлен, корову привязали на место, пойло приготовили заново и кормление пошло обычным порядком, с той только разницей, что когда дали есть и пегой корове, она проявила равнодушие к еде, что было неудивительно. Иоганна была рада уже тому, что она, шатаясь в темноте, не переломала себе ног.

За те месяцы, пока Снель был у Фурмана, это было единственное интересное происшествие в коровнике, если не считать редких случаев, когда ту или иную корову водили на соседний двор к быку, после чего ее снова ставили на место, а Иоганна несколько минут растирала ей хребет палкой.

Однажды, впрочем, поздно вечером, когда коровник был во тьме, там поднялся вдруг шум, бряцанье цепей и мычанье, в котором слышались бунтовщические нотки. Коровы против чего-то протестовали. Но шум был прекращен в две минуты, потому что явилась Иоганна с длинной веревкой в руках, и, удостоверившись, что в кормушках еще у всех есть несъеденное сено и, следовательно, коровам не на что жаловаться, принялась настегивать их направо и налево, не разбирая правых и виноватых. При этом на лице ее была ласковая улыбка, та самая, с которой она говорила:

— Это для маленьких...

Накормив коров и открутив центрифугу, Снель по утрам выполнял еще одну обязанность — звал юного Антона завтракать. Он шел через двор и стучался в двери конюшни, где Антон, рано разбуженный, спал стоя, со штригелем и щеткой в руках, а услышав шаги и стук в дверь, симулировал оживленную деятельность, покрикивая на лошадей и наскоро проводя щеткой там и сям.

— Anton, komm mal 'rein! — говорил Снель всегда одну и ту же фразу, думая, что если он изменит ее, то может, пожалуй, выйти не по-немецки. — Wir wollen bald frühstücken! [1]

— Gleich! [2] — отвечал Антон изнутри сиплым голосом и

[1] Антон, иди в дом. Сейчас будем завтракать.
[2] Сейчас.

спустя немного деловито выходил наружу, накинув на плечи куртку и с фонарем в руках, который он тушил, только входя в кухню, да и то не сразу, а оглядев его со всех сторон, точно боясь, как бы эта тщедушная коптилка вдруг не вспыхнула и не наделала беды. Кто-то ему внушил, что так надо обращаться с фонарями, и он выполнял предписания добросовестно, раздельно и по порядку.

Перед завтраком умывались. У Снеля была своя миска и свое полотенце, но если при этом случалось, что он не мог найти мыла или горячей воды, он замечал, что Хедвиг это как бы совершенно не касалось, но зато Анна сейчас же добывала ему все нужное.

Точно так же Анна одна интересовалась вопросом, надел ли Снель портянки на ноги или же носит их в кармане, и заставляла его обуваться по-настоящему. Был даже случай, когда она показывала ему, как надо надевать портянки, чтобы нога лезла в сапог, и собственными руками навернула их ему на ноги, имея при этом вид сострадательной сестры милосердия около беспомощного больного. Хедвиг, которая вошла в это время в комнату, нашла, что тут уже слишком много милосердия, сказала „пфуй" и даже плюнула. Анна посмотрела на нее с кротостью, а Снель почувствовал себя очень неловко.

Когда вся семья собиралась около стола, подавал первые признаки жизни после пробуждения и сам глава семьи. Хрипя и торопясь, он одевался, откашливаясь от насевшей в горле копоти, выходил во двор, не отходя по нужде особенно далеко, а пользуясь правом хозяина мочиться на фундамент собственного дома, потом, проходя через кухню, находу опускал руки в какую-нибудь миску и тут же вытирал их, считая, что для будней он уже вымыт достаточно, и только по воскресеньям задерживаясь у миски с водой на более долгое время.

Бормоча на ходу молитву, косясь на распятие, старик садился за стол. Он принимался есть с жадностью, но мгновенно насыщался и остальное время проводил в том, что хмурился, поглядывал в окно и что-то соображал. Анна ела

много и основательно, и, глядя на нее, Снель опять вспоминал, что она бывшая первая ученица, которая твердо знает, что для того, чтобы хорошо работать, надо хорошо есть, а чтобы еда лучше шла на пользу, ее надо как следует разжевывать Хедвиг ела скучая; во время еды она была склонна к задумчивости.

Антон и Снель насыщались основательно, но только Антон норовил покончить с едой раньше Снеля. Существовало какое-то правило приличия, которому он следовал, никогда не оставаться последним за столом, с недопитой кружкой и недоеденным куском, и в то время, как все уже кончили, всё еще глотать и жевать. Это означало бы, что он слишком много есть, а он хотел, чтоб так думали не о нем, а о Снеле, и Снель замечал потешное смущение и прямо испуг на его лице, когда, налив себе свежую кружку кофе и отрезав хлеба, в надежде, что так сделает и Снель, он вдруг видел, что Снель вопреки обыкновению совсем не собирается этого делать, отставил от себя чашку, откинулся от стола, сидит да еще и посматривает на него с нетерпением:

— Когда ты только наешься, обжора!

Зимою светало поздно, и семья сидела за кофе дольше, чем нужно, дожидаясь рассвета.

— Отец, — спрашивала Анна, как прилежная, забегающая вперед ученица, — что мы сегодня будем делать?

Старик брюзгливо поворачивался от окна. Такие вопросы раздражали его.

— Не знаю, — говорил он с неизменным неудовольствием. — Сам не знаю. Подождем, пока рассветет.

И он снова принимал вид человека, усиленно что-то обдумывающего, не замечая, что жена и дочери подавляют ласковые улыбки. Его любили, но над ним посмеивались.

Выбор был в сущности невелик. Предстояло или продолжать молотьбу или ехать в лес за дровами. И нечего было особенно думать. Но старик держал себя так, точно находился перед миллионом перспектив и по меньшей мере ждал телеграмм из Лондона и Нью-Йорка для окончательного решения.

— Должно быть будем молотить! — предполагала вслух Анна. — Сделаем пять туров до обеда.

— Не знаю, не знаю... — тянул свое старик. — Ничего не могу тебе сказать. Подождем, пусть рассветет.

Под его взгляд попадался Снель, насытившийся, о чем-то думающий, безразличный к тому, будут ли они молотить или поедут в лес, и он раздражался.

— Может быть, — говорил он хмуро, со старческими срывами голоса, — кому-нибудь здесь хочется, чтоб было подольше темно...

И Снель понимал, что это говорится о нем.

Кончали тем, что вставали и шли молотить. Снель подавал снопы на стол, Анна задавала в барабан, Хедвиг и Антон вязали. Снель сгибался и разгибался, развязывал пояски, рвал их второпях, но глаза его всегда сами собой обращались в одну сторону, туда, где в открытую дверь гумна виднелись горы. Здесь, под грохот машины, среди пыли и гама, им больше чем где-нибудь овладевала мечтательность. И оттого случалось, что он забывал во-время подать сноп на стол, и барабан грохотал впустую. Хедвиг в таких случаях показывала на него Анне глазами и кривила губы. Анна смотрела на него с жалостью и в то же время не без возмущения. Доводить дело до того, чтобы барабан работал впустую, это было постыдно. Сама она была бы несчастна, если б с ней случилось что-нибудь подобное.

Обедали у Фурманов не торопясь, готовили со вкусом. Утомившись после утренней работы, больше молчали. Происшествий не случалось, если не считать случаев, когда старик вдруг находил пищу невкусной. Вдруг ему казалось, что в картошке нет кислоты, и он собственноручно брался за бутылку с уксусом, намереваясь влить его в миску, которая была одна на всех. Жена и дочери протестовали вслух, Антон и Снель выражали неодобрение взглядами.

— Не ешьте там, где я ем, — говорил старик, ощетиниваясь, и заливал уксусом половину миски. Он был капризный старик и готов был пить уксус стаканами, если ему противоречили.

Но это были пустяки, если ему только не хватало кислоты; хуже было, когда он находил суп несоленым и принимался солить его.

Впрочем редко случалось, что он капризничал за обедом. Обыкновенно, глотнув чего-нибудь несколько раз с жадностью и тут же насытившись, в дальнейшем он отставал и сидел за столом, как зритель. Иногда он был в отличнейшем настроении и даже с Снелем заводил разговоры безобидного свойства.

После обеда вязали, переносили зерно на чердак. Снель колол дрова и поглядывал на солнце. Когда лучи его делались косыми и ложились малиновой полосой между яблонями в саду, появлялась на крыльце Анна и говорила Снелю кончать. Начиналась уборка коровника, приносилась полова, сено, овес, на кухне разводился огонь, опять грелась вода, опять крутилась центрифуга, и уже в темноте, после того как никто не был забыт и даже кролику отнесен его клок сена на ночь, рабочий день в доме считался законченным.

За ужином с мирными улыбками, в забвении дневных огорчений, поглощали картофель с маслом, выпивали по кружке кофе, долго сидели и молчали, настораживаясь, если снаружи раздавался какой-нибудь звук.

Каждый звук снаружи в этой освещенной, закупоренной, уютной комнате мигом находил свое объяснение. Если Ролло бросался с лаем через двор и лай его слышался из-за гумна, это значило, что кто-то свернул на полевую дорогу к границе — контрабандист, беглый пленный, нехороший человек. Или вдруг хлопанье деревянных башмаков раздавалось с улицы. Это Ледер Пауль, маленький сын горбуна, пошел за молоком к Вейнертам. Если через минуту деревяжки хлопали дальше, это значило, что у Вейнертов молока ему не дали, и он пошел к Вагнерам. Снель пугался, до какой степени все здесь было как на ладони и как он ошибался, когда думал, что может скрыться, не оставив следа.

Наступал момент, когда Иоганна, встретив его взгляд, говорила за него:

— Вальдемар хочет спать. Кто отведет Вальдемара?

Это было не большое удовольствие — итти по холоду пару кварталов, чтобы проводить Снеля до казармы и взять с конвойного расписку в том, что он принял пленного назад во столько-то часов и столько-то минут. Обыкновенно это лежало на обязанности Антона. Но иногда Снеля провожала Анна, усталая, лихорадящая, кутающаяся в платок.

— Гуте нахт! — говорил Снель, задерживаясь у дверей в ожидании, пока Антон наденет куртку.

— Гуте нахт, — отвечала старуха неизменно ласково. И была еще ласковее, если при этом был старик, который не отвечал на прощанье Снеля по-настоящему, а хрипел про себя что-то, не глядя на него.

— Отец, — вмешивалась Анна в таких случаях, — Вальдемар уходит и желает нам всем спокойной ночи.

— Ах, Вальдемар уходит, — говорил старик с неуловимой хитрецой, симулируя пробуждение из рассеянности, — ну, спокойной ночи, спокойной ночи...

Снель, улыбаясь, выходил на улицу.

5

Придя в казарму, Снель обыкновенно уже заставал там Антона Мазура. Это был веселый детина, который совсем не казался утомленным после работы целого дня, и в то время как Снель, придя на квартиру, норовил поскорее раздеться и улечься на нары, Антон оказывался как-раз в подходящем настроении, чтобы поиграть на гармонике или засесть в очко. Это происходило оттого, что у вдовы, у которой он работал, по зимам нечего было делать в маленьком хозяйстве, и он проводил время в том, что строил ей куры, провожал в школу двух ее мальчиков, развлекал третьего, которого еще носили на руках, или стряпал сам себе галушки и кулеш.

Антон редко унывал сам и не любил, чтобы и в компании заводилось уныние; он играл с душой на гармонике и при общем внимании рассказывал случаи из своей жизни, причем любил изображать самого себя сильно жуликоватым.

Этому товарищи, знавшие обстоятельства его теперешней жизни у вдовы, охотно верили, тем более, что и с фамилией и именем у него тоже было не совсем ладно: звали его Антон Мазур, но он был так же и Иван Гребницкий, и сам чорт не разобрал бы, каким образом это произошло. Запас случаев из его жизни за два года пребывания в одной и той же компании еще не истощился, что указывало если не на богатую событиями жизнь, то во всяком случае на богатое воображение. Рассказывать же он умел искусно, умел и заинтересовать и проморить слушателя, разгорячить его, заставить подождать, задавить подробностями, чтобы затем в два слова прийти к смехотворному концу. Слушая его повествование о том, как в Самаре ему медички бензином раны промывали, вошедший во вкус слушатель почти ощущал острую боль производимой операции.

Другим признанным рассказчиком в казарме был Максим, остроносый, чистоплотный человек, с бельмом на глазу и примазанными к темени и до половины лба волосами. Он по вечерам рассказывал сказки, если приходило настроение, и тогда даже самые сонливые, те, которые, казалось, уже спали, вдруг удивляли соседей тем, что неожиданно фыркали, когда рассказывалось смешное. Сказки были слышаны им где-нибудь или вычитаны из книг. Последние отличались от первых тем, что тут в его передаче чувствовались все тире и все вводные слова, которые были в книге. Было известно, что его нельзя перебивать, потому что он считал такое поведение неприличным, обижался и спадал с тона. Он очаровывал слушателей медлительностью речи и серьезностью, с какой выполнял свое дело. Такие сказки, как о королевском сыне, который учился воровать, были известны всем в подробностях, но какой бледной и неинтересной она выходила, если кто-нибудь другой, а не сам Максим, брался ее рассказывать.

Или он рассказывал события своей жизни, которые все были не похожи на скандальные истории, случавшиеся с Антоном. Об отце с матерью, о поганой службе в конвойной команде на окраине, о побегах арестантов, о присяге, или о том, как, попав в плен, пытался с первых же этапов

в Польше бежать и во время побега переходил в ледоход реку со льдины на льдину, причем товарищи его погибли, а он позже в полузамерзшем состоянии был снят со льдины немецким патрулем. Жизнь в его изображении оказывалась трагической и серьезной, а он сам — человеком любопытным, всегда чего-то в людях искавшим и не нашедшим. По тому, как он говорил о людях, было видно, что он любил все-таки, чтобы человек был на своем месте, гнул свою линию и разумно приобретал. Таких людей, как Снель, считал праведными, но никудышными. Если Снель закуривал перед сном семипфенниговую сигару, а потом, пресытившись ею, бросал недокуренный на треть окурок наотмашь на середину комнаты, Максим делал ему выговор:

— Зачем не потушил, не спрятал?

Снель сонно возражал, что тушить да прятать дороже стоит. Лень повернуться, спать хочется.

— Так ты и все расшвыряешь, — говорил Максим. — Ведь вот мы одно зарабатываем, а денег у тебя не бывает, и ты ко мне приходишь взаймы просить.

Жизнь в Комице давалась Максиму нелегко. Каждый день он рассказывал о каких-нибудь новых обидах от хозяев. От них он прежде тоже чего-то добивался, чего-то у них искал — признания что ли, или любви — не добился, стал гнуть в другую сторону, ударился в самолюбие, дурил, устраивал истории. А однажды, получив на неделю свежую печатку масла, когда и от прошлой недели у него оставался кусок, взял да и опрокинул публично остатки себе на голову и размазал по волосам, чтобы этим что-то хозяевам доказать. Хозяева после этого случая стали смотреть на него с опаской и считали, что у него не все дома. Он и сам впрочем боялся такого оборота и иногда, ложась спать, говорил:

— Что-то шумело у меня в голове весь день очень. И в глазах среди дня темнело. Плох я стал на голову.

Заметным человеком был также Филька, — Филипп Падерин, — веселый основательный мужчина из пермяков, мало проявлявший себя публично, но в задушевных беседах по углам в небольшой компании обнаруживавший неистребимую

веселость и готовность находить забавным что угодно. Происшествия, случавшиеся с ним, все на подбор были такие, что над ними можно было только хохотать. На военной службе он был жандармом, где-то на Дальнем Востоке дергал китайцев за косы, брал с них почем зря рубли и полтинники, и это было забавно. Домой в деревню после службы вернулся с тремя тысячами в кармане, что было уже совсем весело и доставило ему уважение сограждан. Еще смешнее было, однако, что все эти тысячи он некоторое время спустя промотал самым вздорным образом, следуя примеру какого-то драгунского вольноопределяющегося, к которому испытывал нежность и теперь, много лет спустя, да и к Снелю благоволил в значительной мере потому, что он тоже был из вольноопределяющихся, и Филька искал в нем элементов драгуна. Когда началась война, Фильку двинули из тыла на запад, и в каждом городе он норовил задержаться и подебоширить, и все сходило ему с рук, пока не попал он в Одессу, где заболел дурной болезнью. Это было бы уже не так забавно, если б не попал он благодаря этому в монастырский лазарет. Вспоминая о том, как он обличал в стяжательности монахов, продававших тайно вино больным, он чуть не умирал со смеху.

На фронте тоже было немало смеха. Офицеры попадались все какие-то чудаки, солдаты — бог их знает, откуда их только таких набрали, шрапнель рвалась над головой самым забавным образом. В плену в лагере Филька сначала чуть было не сдох с голоду, и тут с ним мало случалось забавного, если не считать случая, когда он, пойдя однажды в отхожее место, представлявшее собою дощатый помост над глубокой ямой, провалился от слабости сквозь дыру и был извлечен из ямы едва живым. В деревне у крестьян Филька снова вошел в тело, повеселел, находил бездну поводов погоготать, а в свободные часы выстукивал из пфеннигов колечки, которые продавал потом немкам по соседству. Норовя выгравировать на нем сердечко погрудастей, а стрелу позанозистей, заранее ухмылялся, представляя себе, как немка, для которой колечко делалось, очаруется им, посоловеет и скажет: „Hübsch!“...

Рядом с Филькой занимал место на нарах здоровенный и добродушный парень Федор Кунак, прозванный в деревне Фридрихом. Состояние покоя он до такой степени предпочитал действию, что по воскресеньям, когда не полагалось работать, не ходил к хозяевам и завтракать и оставался в постели один в запертой казарме, голодный до обеда. По той же причине он не любил умываться. После бритья та часть его физиономии, где перед этим было размазано мыло, заметно отличалась цветом от тех мест, где мылить не полагалось. Он заставлял других писать за себя письма на родину, хотя и сам был хорошо грамотен; написанное тоже не читал; таким образом и случилось однажды, что он сдал к отправке письмо к отцу, которое ради шутки товарищ подписал: „Остаюсь любящий вас сын ваш Фридрих", и очень был удивлен, когда через несколько месяцев из глубины Сибири получил от отца ответ, полный упреков и даже проклятий по поводу перемены им имени и вероотступничества. Над этой историей смеялись, смеялся и сам Фридрих, но втайне беспокоился и не без боязни думал о возвращении после войны домой к проклявшему его отцу.

В характере его было много детского. Просил он обо всем как-то плаксиво и привык, чтобы на его просьбы не обращали внимания.

Если вечером за столиком начиналось очко, то Фридрих мгновенно проникался интересом к игре, горящими глазами смотрел на игроков и пристраивался к столику. Если было мало места, ему попросту говорили, чтоб он очистил место для другого, потому что считалось грешно обыгрывать его, а также потому, что, проигравшись, он способен был вымотать душу, канюча у кого-нибудь полмарки на отыгрыш.

Однажды кто-то из команды, прочитав объявление в газете, выписал себе книгу из заграничного русского издательства. Вожделения Фридриха и весь его жар направились в эту сторону. Он преодолел затруднения, связанные со сбережением денег, писанием заказа и отправкой его на почту, для чего должен был задабривать мальчишку-немца, своего подручного, и не успокоился до тех пор, пока на его имя не была полу-

чена книга, точь-в-точь такая же, как у товарища. Таким образом и получилось, что в казарме, в которой не было никаких книг, единственная имевшаяся книга была в двух экземплярах.

Самым элегантным из пленных был Тоня. У него была стройная фигура, изогнутый нос и офицерский взгляд. Непонятным образом, он, единственный из команды, при самых неблагоприятных условиях, сохранил привязанность к фиксатуару, бинтам для усов, надушенным платочкам и даже к сардинкам, которые он, бывая иногда по воскресеньям с провожатым в городе, покупал на ничтожный свой заработок. Как раз этот его элегантный вид и в особенности сардинки ставились ему его хозяевами в вину, как признак заносчивости и тайных претензий, неуместных в пленном. Конвойный был с ними согласен, и бедному Тоне, виновному только в элегантности, попадало от него даже прикладом. Тоня возмущался, пытался жаловаться фельдфебелю, но конвойный сумел оправдаться: один раз он учил Тоню за то, что тот бил лошадь и даже сломал о нее грабли, в другой раз за то, что в ушате для коровы Тоня мыл свои клетчатые носочки, в третий раз — хлопнул дверью после разговора с хозяином. Все это были факты, и над жалобами Тони только посмеялись. Тоня терпел гонения, но изысканного вида своего не терял, разве что сардинки стал покупать и поедать тайком от хозяев.

Откуда была у Тони эта его неистребимая приверженность к парфюмерии и гастрономии, было непонятно, потому что в остальном он был парень как все и даже не чересчур грамотный. Впоследствии оказалось, что он служил камердинером у какого-то консула в Крыму. Возможно, что именно тут-то он и видел те недосягаемые образцы изящества, ради одного воспоминания о которых готов был терпеть что угодно.

У Тони был орлиный нос и якобы небрежные кудри, он был красив, и естественно у него были поклонницы из немецких девочек, готовые на многое, если б время и место позволяли. Тоня оставлял их в пренебрежении. Иногда он просил Снеля написать по-немецки ту или иную записочку.

Снель писал с его слов записки вроде: „Что значит твое молчание?“ или „Будь со мной как прежде, открой мне все“, и полагал, что это относится к соседской девице. Но однажды его попросили написать: „Я беспокоюсь. Неужели тебя снова отправляют на фронт“; тут уж он удивился и спросил, кому собственно записки предназначаются. Тоня, краснея, ответил, что они пишутся для Карла, хозяйского сына, молодого человека призывного возраста, к которому он чувствует какую-то нежность.

Снель при этом признании посмотрел на Тоню несколько новым взглядом, удивляясь, что такие вещи случаются, и особенно, что это случилось в Комице, среди скуки и уныния, с военнопленным, которому раз в неделю попадает прикладом по спине.

Жизнь Тони в Комице была полна волнений. Он любил, терпел гонения, и это отличало его от товарищей, старавшихся жить как можно незаметнее, чтобы только отбыть как-нибудь постылое время.

Был еще в команде Мефодий, в прошлом приказчик по лесной части, любитель ходить в жилете поверх рубахи с цепочкой по груди и знаток многих комических граммофонных пластинок. Он не пользовался симпатиями товарищей за то, главным образом, что, напившись сам, любил куражиться над теми, кому напиться не удалось — сам пил, а другим пробку давал нюхать. Неприятным свойством его была также претензия давать людям прозвища, обычно самые неподходящие, и обижаться, когда прозвища не прививались. Одного парнишку-немца, Пауля Юнге, он неизвестно почему прозвал Столыпиным и, когда слышал, что другие все же называют его Паулем, кричал: „Ведь он же Столыпин! Ведь я же прозвал его Столыпиным!“

Остальные члены команды подобрались из казанских татар, живших в своем углу и заявлявших о себе лишь за картами. Обо всех четырнадцати пленных, живших в казарме, можно было без ошибки сказать, что все они чувствовали себя в Комице скорее страдальцами, каждый подумывал кое-о чем запретном и питал более или менее отдаленные мечты летом

удрать за горы, видневшиеся не очень далеко в хорошую погоду. Горы — это были Судеты — назывались по памяти японской войны сопками, а о человеке, который бежал в горы, говорилось — ушел сопки проверять...

6

После того как первое заявление старика в инспекцию потерпело неудачу, Фурманы поняли, что отделаться от Снеля не так-то легко, и направили усилия в другую сторону: стали искать, как бы обменять его на другого пленного внутри деревни. В другом конце деревни была еще одна команда пленных и были хозяйства с тремя, с пятью пленными. Казалось, что если из артели взять одного хорошего и подсунуть Снеля, то не будет вреда никому, и может быть найдется хозяин, который согласится на это. Однако желающих произвести такой обмен пленников не нашлось. Дело велось в тайне от Снеля. Действовали больше Анна и Хедвиг, и иногда по этим делам они куда-то исчезали. Старик не путался в переговоры, он попросту хандрил. По некоторым взглядам, по выражению глаз Анны и сопоставив некоторые мелкие факты, Снель всегда мог догадаться, как обстоит его дело в каждый данный момент — дана ли Фурманам где-нибудь какая-нибудь надежда или отказано начисто. Кроме того конвойный, обедая в свой день у хозяйки Антона, пускался в откровенности, а Антон вечером передавал Снелю проекты, которые создавались и разрушались насчет его особы. Дело так долго оставалось в неопределенном положении, что конвойный, говоря о нем с Фурманом, принимал печальный вид. „Эта в высшей степени тягостная история“, — говорил он. — „Эта гнилая канитель“, — поправлял его старик.

Лицо у Анны было такое, что тайное очень скоро становилось явным, если она хотела что-нибудь скрыть. Снель удивлялся, как много волнения, отчаяния, ожидания, мечтательности вызывала в ней эта „в высшей степени тягостная история“. Хедвиг за целый год не удалось бы изобразить на своем лице столько различных чувств, сколько обнаружива-

лось у Анны за несколько дней. Переходы были резкими: улыбнувшись, она принималась плакать, то была в подавленном состоянии, то оживлялась. Пустяковые военные хитрости, предпринимавшиеся для того, чтобы держать Снеля в неведении, она выполняла так, точно была участницей заговора на жизнь и смерть, с потрясающими волнениями и перспективами.

— Что это за женщина приходила сегодня во двор? — спрашивал Снель после странного визита какой-то почтенной женщины, которая в сопровождении Иоганны обошла двор и очень долго простояла в коровнике, глядя, как Снель работает.

— Какая женщина? — пугалась Анна до пятен на лице, видя какую-то свою махинацию разоблаченной.

— Та, что заходила в коровник.

— Она, — лепетала Анна, путаясь от смущения, — приходила покупать... гуся...

А потом бежала на кухню предупредить мать и Хедвиг, чтобы они тоже говорили Снелю, будто женщина приходила за гусем, если он спросит. Снель же знал, что фамилия женщины была Хауке, что у ней работают двое пленных татар из команды, что ее просили обменять одного из них на Снеля; она приходила смотреть работу Снеля, осталась им недовольна и отклонила предложение.

Или Анна в то время, как они отбирали в подвале картофель, начинала мечтать вслух, что будет, когда наступит весна, и что каждый будет делать. Снелю она тоже назначала кое-какую работу: направлять сеялку, косить клевер и многое другое, но делала это с натяжкой и нечистым выражением невинных глаз. Это происходило оттого, что совсем недавно, два дня назад, было послано о нем новое заявление в Бреславль, каллиграфически написанное Анной под диктовку старика и содержавшее преувеличения и даже клеветы на его счет, лишь бы добиться положительного ответа. Снель знал это и то, что на самом деле Анна меньше всего думает о том, как он будет косить клевер и направлять сеялку, и ошарашивал ее неожиданным вопросом: „Сколько дней идет письмо до Бреславля?“ Анна терялась до слез.

Старик унывал. Он все больше укреплялся в мнении, что Снель просто-напросто глуп, и начал с ним соответственно обращаться: говоря ему что-нибудь, повторял одно и то же по нескольку раз короткими фразами, да еще и в глаза ему смотрел и спрашивал, понял ли он его. Кто-то внушал ему, что для того, чтобы обменять один неудачно приобретенный предмет на лучший, надо, чтобы предмет был доставлен обратно в непопорченном виде. Он стал оберегать Снеля от разных случайностей. Вначале он приспособил Снеля носить воду и сено лошадям, но, когда лошади прижали его однажды к стене, брыкаясь, он запретил ему входить в конюшню. Когда соломорезку крутили конным приводом, а Снель, отгребая и отступая задом, слишком близко подходил к ремню, старик в ужасе манил его пальцем к себе, боясь, как бы его не втянуло и не размолотило в этой пустяковой машине.

— Я отвечаю за тебя юридически и материально, — говорил он словами инструкции. — Я не могу допустить этого.

А однажды во время молотьбы, когда сверху бросали снопы и Снелю попало по голове, а он еще потом поднял голову и посмотрел вверх навстречу новому снопу, старик остановил машину и заявил, что так дальше продолжаться не может.

— Анна, — сказал он жалобно, — объясни ему, меня он не поймет.

Анна с одушевлением объяснила ему, что надо быть очень осторожным и в то время, когда бросают снопы, ни в каком случае не смотреть вверх, а самое лучшее держать глаза полузакрытыми, потому что зерна отскакивают с силой и могут выбить глаз. К этому она кстати прибавила несколько слов о сеновалах, где иногда не видно, что под сеном нет доски, и можно провалиться.

После неудачных попыток первого дня Снель понемногу научился носить мешки. Первый взваленный им на себя мешок был событием в доме, вся семья сбежалась посмотреть, как он будет подыматься по лестнице, и хотя их овации были скорее ироническими, а Снель на самом верху задохся

и долго не мог отдышаться, в дальнейшем дело пошло бы лучше. Но старик объявил ему, чтоб он больше не подставлял спины под мешок, потому что это не его дело. Ему точно нарочно хотелось сделать Снеля еще бесполезнее, чем он был в действительности, чтобы иметь право писать о нем бог знает что в инспекцию, а в разговорах на улице говорить о нем:

— Представьте только себе. Моя дочь, моя младшая дочь, подымает и носит мешки, а этот оболтус не в состоянии. У него хребет, видите ли, устроен иначе...

Или так:

— Он знает, чорт его побери, грамматику, но ни в жизнь не поймет сеялки. Вот какой это удивительный парень... Между тем он съел весь мой запас картошки...

Анна опекала Снеля в других отношениях. Она расстегивала его воротник и смотрела под куртку.

— Вальдемар, — говорила она значительно, — ты опять не надел теплой рубахи, что я тебе дала.

— Не надел, — говорил Снель с удивлением. Никто никогда в жизни не интересовался, что и в какую погоду он надевает, и такая заботливость трогала и озадачивала его.

— Вернись в комнату и надень, — настаивала Анна. — Сегодня такой ветер. Ты простудишься...

— Пустяки... — возражал Снель небрежно, сразу входя в роль человека, о котором заботятся. — Я привык.

— Совсем не пустяки... — убеждала Анна чуть не со слезами. — Сделай это ради меня, Вальдемар.

— Если по-твоему это так важно, — соглашался Снель, — то, конечно...

— Пойми, — вела свою мысль Анна, — если ты простудишься, тебя положат в лазарет...

— Ну... — ждал Снель, начиная догадываться, что конец будет для него неожиданным.

— А если тебя положат в лазарет, нам уже на твое место никого не дадут...

Снель падал с облаков, видя истинную причину ее заботливости, раздражался и укреплялся в мнении, что если он

все-таки убежит от этих грубых эгоистов, то это будет только справедливо.

Присутствие Снеля раздражало старика. Он был совсем не угрюмый человек и многими даже считался самым бойким и обходительным старичком в деревне, но теперь дома, точно в присутствии враждебной силы, он ежился, отмалчивался, раздражался. Случалось, что он возвращался из компании в слегка возбужденном виде, нетвердо выступая важной петушьей поступью, и Анна встречала его рукоплесканиями и криками: „Vater kommt!“ (Отец идет!) Это было ее обыкновение в детские годы встречать его так. К ласковым нотам в ее манере прибавилось с тех пор немало иронии и лукавства, но старику они напоминали что-то необыкновенно приятное. Он задумывался, лицо его готово было дрогнуть нежностью, но на глаза ему попадался Снель с его рассеянным и чуждым взглядом, и лицо старика менялось, он отворачивался и молча шел в комнаты...

Когда кончали молотьбу, старик отобрал последние снопы для двух утренних туров и сказал, что остальное будут молотить отдельно. Он запряг лошадей в ворот и пустился в свое обычное путешествие по кругу, покуривая трубку, хмурясь. Внутри же гумна в это время Анна, с загоревшимися глазами, предлагала Хедвиг и остальным устроить небольшую комедию, смолотить все до последнего колоса, так, чтоб старик этого не заметил, поздравить его с окончанием молотьбы. Антон стал у барабана, Снель у стола, а Хедвиг и Анна действовали так быстро, что успевали и вязать из-под машины и перелезать через загородки, подтаскивая из всех углов оставшиеся снопы. Снель проявил при этом даже некоторую ловкость, заразившись от Анны ее оживлением. Ее страх, как бы старик раньше времени не заглянул в дверь, передался ему. Так мило отражался он на ее лице.

Старик ходил и ходил по кругу, покуривая, постегивая лошадок, ворча, что тур что-то очень затянулся. Но он остановил ворот и вошел в овин только тогда, когда заметил, что барабан работает впустую, а в дверях стоят дочери

с платками, а Снель и Антон, с шапками в руках, поздравляют хозяина с окончанием молотьбы и требуют на выпивку:

Hoch, Fuhrmann, hoch
Soll er leben!
A Liter soll er geben!

В глазах Анны, его любимицы, было столько лукавства, когда она стояла перед ним, что ему оставалось только рассмеяться, поняв, в чем дело, и около губ его уже складывалась улыбка, но опять на глаза ему попался Снель, чужой, иронический, никчемный человек, и вместо улыбки обиженное выражение появилось на его лице, и, ни слова не говоря, он вышел из овина и пошел в дом, а потом за обедом раздраженно говорил, как было неостроумно менять его распоряжения и по каким именно соображениям было важно смолотить последки отдельно...

Видеть Снеля напротив себя за столом было старику тяжело. Он даже изменил своему обыкновению, насытившись, сидеть за столом и посматривать в окно, пока все не кончат есть, и теперь, в две минуты проглотив свои куски, вставал и уходил, чтобы не видеть, как этот неприятный человек, который и за стол садился не перекрестившись и ломтя хлеба не мог себе отрезать как следует, поедал его картошку, намазывая ее смальцем с усердием совершенно неприличным.

Существовало правило, что резать хлеб надо через весь коровай, ломтями не очень толстыми и не очень тонкими, а как следует, в меру, то, что называется „ordentlich". Затем ломоть надо намазать маслом весь сразу, разрезать пополам, половинку наложить на половинку и в таком виде есть. Вся деревня поступала таким образом, точно это было где-нибудь написано, а Антон выполнял все это с такой отчетливостью, словно это были ружейные приемы; закончив же всю операцию и наложив половинку на половинку, он даже оглядывался, словно могло последовать одобрение.

Снель не знал, что такое правило существует, резал ломти наудачу, маленький и безыменный пальцы у него иногда были скрючены от продолжительного неправильного держания

пилы на холоде, так что он не мог себе отрезать вообще никакого ломтя и просил резать других, мазал он иногда хлеб не сплошь, а отрезая по кусочку, что для старика было яд... Старик не был скуп, но такое поведение Снеля было неприличием и возмущало его душу. И однажды, когда Снель рассеяннейшим образом намазывал маслом крошечные куски хлеба, старика прорвало:

— Нет, я должен ему сказать...— заговорил он с огнем негодования в глазах, хотя Анна, которая понимала в чем дело, цыкала на него, как на гуся. Снель, видя, что и на этот раз он был причиной возмущения старика, удивился.

— Опять не слава богу? — пробормотал он с неудовольствием по-русски. В ссорах он всегда переходил на русский язык.

— Ну, в чем дело? — обратился он к старику ласковым тоном, каким говорят с капризными детьми. Он с некоторых пор усвоил себе эту манеру говорить со стариком в противовес обыкновению старика говорить с ним, как с идиотом.

— Меншенскинд! — сказал старик подавленным голосом.— Не в моих правилах учить, как надо есть, людей, сидящих за моим столом, но я вижу, что я должен это сделать...

И он срывающимся голосом сказал дальше, что резать хлеб надо „ordentlich", мазать „ordentlich", есть „ordentlich".

Он схватил коровай и на примере показал, как это делается. Он отрезал ломоть, намазал его и положил перед Снелем.

Снель молча откинулся от стола. Он еще дожевывал свой маленький кусочек, намазанный маслом, тот самый, что вызвал возмущение старика, и неожиданно почувствовал, как этот самый кусочек вдруг стал горьким и его стало трудно проглотить. Анна плакала.

Это был безусловно самый худший момент его здешней жизни, и если после него он не убежал в горы тут же с места, так только потому, что стояли морозы, бежать было глупо, и, кроме того, Анна смотрела за каждым его шагом.

С некоторых пор старик полюбил пропадать из дому. Он завел моду ходить по соседям, подолгу сидеть с трубкой во рту и цедить слова, а так как он говорил о своих неза-

дачах и о том, какой плохой работник Снель, то очень скоро Фурман и его пленный вошли в известность, и над ними стали посмеиваться. Анна по некоторым намекам поняла, что отец играет смешную роль, и с тех пор, если отец уходил, она смотрела, куда он пойдет, а потом через четверть часа приходила и звала его домой по важному делу. Старик шел по улице вслед за Анной своей важной поступью, изображая на лице озабоченность. Дома ему объявляли, что доктор прописал ему спать после обеда, и укладывали на диван. Он покорялся.

Он сильно постарел со времени смерти сыновей. Снель стоял однажды во дворе, когда старики вместе с Хедвиг и Антоном садились в экипаж, чтобы ехать в гости в дальнюю деревню на весь день. Анна укутывала старика, Хедвиг — мать.

— Я не хочу красного шарфа, — говорила жалобно Иоганна, на которую Хедвиг тем не менее намотала этот самый шарф, завязав узлом сзади.

— Я не хочу наушников, — отбивался от Анны старик, хрипя и принимая свой грозный вид. Но наушники были на него надеты.

Они скоро подчинились ласковому принуждению дочерей и сидели невидные из-под платья, забывши, что только что чему-то сопротивлялись. Снель удивился, какими старыми и усталыми они ему вдруг показались.

Дома оставались только Анна и Снель. Это дало повод Хедвиг сделать вскользь замечание, что тут не обойдется без беды...

— Смотрите, ведите себя хорошо, — крикнула она с козел, — и не вздумайте ложиться спать. Мы приедем, все узнаем.

Антон, любивший намеки этого рода, задвигал пухлыми щеками, что-то добавляя.

Сани тронулись. Анна вскочила на запятки, просунув голову между стариками. Она проводила их до ворот и там соскочила, сделав жест, будто выталкивает их со двора; свистнула, вернулась в дом, немного смущенная намеком Хедвиг.

Оставшись вдвоем со Снелем, она меньше всего думала

о том, чтобы ложиться спать. Поведение ее однако было странным. Прежде всего она сказала, что ему совсем незачем торчать во дворе, пусть сидит на кухне. Затем она нашла, что ему необходимо снять куртку и отчистить сальные пятна водой и утюгом. Сапоги также оказалось необходимым снять и поставить в печку, чтобы они хоть раз хорошо высохли. На ноги она дала ему деревянные выдолбленные туфли, в которых шагу нельзя было ступить без боли, так что оставалось только сидеть. При всем том она двигалась около праздно сидящего и покуривавшего Снеля, задевая его, и имела беспокойный необычный вид. Учтя все эти странности, разнеженный теплом, Снель и в самом деле вообразил, что он накануне чего-то, тем более что и раньше он слышал от Хедвиг, что Анне он не неприятен.

И только попозже он сообразил, для чего все это было сделано. Анна, которая ждала каждую минуту, что он, несмотря ни на какие морозы, убежит от них, оставшись с ним одна, была бы беспомощна, если б он действительно вздумал сделать это. Для этого ей и понадобилось держать его в кухне у себя на глазах, для того же самого потребовалось оставить его без куртки и сапог, потому что человек в таком виде наверное не сделает ни шагу из дому.

И если при всем том ему удалось каким-то образом ее поцеловать, то бог знает, где тут кончалась ее дочерняя любовь к старикам, во имя которой она приносила эту небольшую жертву, и начиналась та склонность к Снелю, о которой говорила Хедвиг.

Когда старики вернулись, Иоганна посмотрела на Анну и Снеля внимательно.

— Надеюсь, — сказала она не без значения, — тут ничего не случилось?

Снель молчал, глядя на нее удивленно. Анна доставала в это время из печки его сапоги. Они были совершенно сухие, их можно было надевать. Куртка также была вычищена и выглажена. Старуха перевела взгляд на ноги Снеля в огромных обрубках.

— Да, — продолжала она с мелькнувшей улыбкой, —

я вижу, что с вами ничего не случилось. Ничего и не должно было случиться.

Снель только тогда понял, что вся эта история была условлена.

7

Самым лучшим днем в неделе было воскресенье, вернее вечер субботы, потому что тогда целый день отдыха был еще весь впереди. В этот вечер и лампа в казарме горела светлее, и люди, возвращаясь от хозяев с чистым бельем подмышкой, выглядели благостнее, и в очко в этот вечер играли не с такой изуверской поспешностью, как в будни. С началом воскресенья этот день покоя, казавшийся неисчерпаемым, стремительно убывал; кроме того воскресенья редко оправдывали ожидания и, прожив этот день, человек сам удивлялся, почему всю неделю он ждал его с таким нетерпением.

В воскресенье будили позже. Многие успевали сами проснуться к тому времени, когда конвойный отворял дверь. На завтрак к хозяевам ходили все, только Фридрих выканючивал разрешение остаться в постели, пренебрегая для этого завтраком. От хозяев большинство возвращалось лишь после обеда, чтобы не ходить взад и вперед, но Снель и Максим, окончив завтрак, обязательно являлись в казарму.

В казарме еще оставался запах ночевавших людей. Когда открывали форточку, Фридрих начинал хныкать и шевелиться под одеялом. На него прикрикивали и накидывали лишнюю шинель. Максим садился за починку чего-нибудь из одежды. Снель залегал на свое место с намерением почитать. У него под тюфяком валялся старый немецкий календарь на 1908 год, в котором были шарады религиозного содержания и десять рассказов, написанных по числу заповедей. Сверху жирным была напечатана самая заповедь, потом шли тексты от Матфея и от Луки и примеры из жизни благочестивых людей. Снель читал все подряд, довольный уже тем, что перед ним были печатные строки. Утомившись чтением, выпускал календарь из рук и лежал просто так, радуясь, что может

лежать, ничего не делая, и сам, если вдумывался, презирая себя за свою радость.

Фридрих часам к десяти начинал беспокоиться под одеялом, не то собираясь вставать, не то раздумывая делать это. Обычно, в будние дни, он к этому времени уже успевал проглотить и первый и второй завтрак, и теперь пустота в желудке делалась заметной. Он вставал в конце концов, хныча надевал штаны, с омерзением смотрел на сапоги, которые еще предстояло надеть, падал духом перед лицом этой необходимости, сопя наматывал кислые портянки. От малейшего ветерка бубнил, сжимался, прикрывая себя руками побабьи. Хныча искал воды умыться, а потом вытирался первым попавшимся концом с таким видом, точно терпел мучения.

— Что? — говорил Максим, наблюдая его, — оголодал? Будешь теперь ходить на завтрак?

— Буду... — отвечал Фридрих с сознанием вины. — Жрать хочется.

Все воскресенья, какие были, пока они жили вместе, задавал Максим Фридриху этот вопрос и получал от него в ответ то же самое обещание, которое к следующему воскресенью им забывалось.

На подоконнике под мыльцем для бритья лежало маленькое синодское евангелие, Фридрих брал его и с остервенением принимался читать, шевеля губами, но быстро прерывал себя вопросом:

— Долго еще до обеда?..

— Часа полтора подождешь, — говорил Максим не без соболезнования.

— Чорт!.. — восклицал Фридрих и больше не читал, но нес евангелие Снелю, находя, что это скорее по его части, и видя, как тот, читая евангелие в сотый раз, быстро перебирает маленькие странички, восторгался:

— Смотри, смотри, как листает, — говорил он Максиму: — Что за человек! Ах, что за человек!

Максим, окончив починку, брался за балалайку. Репертуар его каждое воскресенье повторялся в той же последовательности. Для каждой песни был свой голос и свое выражение

лица, и можно было ручаться, что в известном грозном месте он затренькает и оборвет как раз с такой силой, с какой делал это и неделю и месяц тому назад. Начинал он с чего-то конвойно-почтальонского:

— Однажды мне отдал начальник приказ
Спешить поскорее на почту.
Я вырвал пакет и скорей на коня,
Помчался по снежному полю...

Фридрих иногда тоже напевал эту песню, но у него все слова выходили одно на одно и звучали, как слезница. Один Максим умел петь с такими тонкими оттенками, что при слове „начальник" представлялось, что кто-то стоит перед кем-то во фронт, а в словах: „Я вырвал пакет" прямо уже звучало что-то изуверское.

Кончив эту песню, менял унтер-офицерское выражение лица на задушевное и голос пускал тоньше:

Кончив курс своей науки,
В дом родительский попал...
Э э да и я просил у отца благословенья,
Э да и он мне его не дал...

И опять слушатель, глядя на Максима, начинал видеть, что перед ним как-раз и сидит тот человек, который, кончив курс своей науки, просил у отца благословенья и его не получил.

— Друзья...—переходил Максим на другой трагический лад:

...пред вами сознаюсь:
Сеээстру родную полюбил...
Всегда преследовал за ней...

Отворялась дверь, входил юный Пауль, которого никто не хотел звать Столыпиным, и уводил на обед Фридриха. Приходила солдатка из двора Фишеров и уводила Максима. Анна, ежась на морозе в праздничном платье, не входя в казарму, вызывала Снеля.

Праздничный обед вкушался во всех домах деревни почти в одно и то же время, сейчас же по приходе из церкви. Одни из пленных ели досыта, другим давали мало, а были

и такие, которым давали достаточно, но они отказывались, стесняясь своего чрезмерного аппетита и приноравливаясь к тому, как ели другие за столом. Но все без различия, воротясь с обеда в казарму с куском хлеба с маслом на феспер, съедали этот самый хлеб сейчас же по приходе, через десять минут после обеда, подержав его немного над горячей железной плитой, отчего масло проходило насквозь. И все признавались, что за всю неделю ничего не ели с большей охотой. Причина была та, что этот хлеб был единственной пищей, которая елась ими не на глазах у хозяев, а на полной свободе среди своих.

После обеда все должны были быть налицо, и тут дело в казарме принимало другой оборот. Картежники — одна и та же компания — входя, оглядывались на стол у окна и на сидящих там. Заправилами здесь были Антон и Максим. У каждого была своя манера вести дело наверняка. Максим бил на психологию, тонко разбираясь в оттенках голоса противника, когда тот, купив карту, говорил: „довольно". Сам же он, покупая, выдерживал паузу, смотрел банкомету в глаза, давил его непроницаемостью. Шедевром его был случай, когда, купив к двойке валета, он ответил „довольно" с такой безмятежностью, что противник с девятнадцатью на руках отчаялся и прикупил к ним десятку.

У Антона был другой метод: он старался запомнить все выходящие карты из большой талии и рассчитывал, чего можно было ожидать от банкомета. Это требовало напряжения памяти и держало его в волнении, но редко случалось, чтобы догадки его оправдывались. Обыкновенно он в конце концов запутывался, и многозначительная улыбка исчезала с его лица вместе с начинающимся обмелением его карманов. Один раз он выиграл много, когда принес с собой и пустил в игру наколотые карты. Работа была грубая, наколку в конце концов заметили, но только посмеялись над этим, как над ловкой штукой, и никто не подумал требовать от Антона назад проигрыш.

К некоторым вещам вообще, которые в других местах считались позорными, здесь относились с равнодушием.

Например, было известно, что один из команды шпионит конвойному, за что получает брюки с лампасами и сапоги сверх всякой меры. Что его деятельность отзывалась кое-на ком побоями, было заметно; что у него четверо брюк и трое сапог, было тоже заметно, но относились к нему не хуже, чем к другим. Дело в том, что конвойный обращался с предложением помогать ему информацией не к нему одному, а почти к каждому в отдельности, и никто прямо не отказывался, но все тянули, водили его за нос, врали что придется, за исключением одного, который как будто принял дело всерьез. Не было у пленных времени, чтобы разобраться в этом деле как следует, да и небезопасно это было. Максим однажды начал что-то на этот счет, но встретил равнодушие и смолк. Мало кто его даже и понял, потому что говорил он обиняками, понятными лишь посвященным. Большинство же только покривилось, не желая и догадываться, в чем дело. В деле побегов все так таились друг от друга, что не желали и звуком и намеком выдавать себя.

— Шут с им, — говорил один, отводя глаза. — Нам не бежать!

— Туды его мать, — добавлял другой. — Нам и тут хорошо...

Проигравшись, Антон некоторое время еще стоял у стола, наблюдая игру. Странным образом, как-раз в то время, когда у него не было денег, его память прояснялась, и он довольно ловко по ничтожным отличиям рубашки называл и королей и дам и что угодно.

Карты здесь были нерусские, черви вместо сердец изображались желудями, а пики виноградными листьями. Пики в команде назывались винями, а дамы кралями. Карты сдавались не сверху, а выковыривались из-под низу корявыми пальцами, негибкими от работы на холоде. Только Антон и Максим отличались некоторым проворством пальцев.

Были еще карты военные, где тузов изображали Вильгельм, Франц Иосиф и Фердинанд болгарский с турецким султаном, королями, дамами, валетами были Гинденбург, Людендорф, Макензен и другие по порядку вплоть до лейтенанта Ведди-

гена и хауптмана Бельке. Их называли старики, средние, молодые и валили в общую кучу, не интересуясь, кто они такие собственно были.

В другом углу Тоня собирал желающих играть в очко на пфенниги. Желающих было немного, потому что игра не вызывала волнения, из-за стола вставали по пустяковым поводам и больше не возвращались, но Тоня волновался и, проиграв кому-нибудь пфенниг, говорил жеманно:

— Фи, гадкий, опять выиграл...

Чтобы не терзать себя понапрасну, Антон выходил в конце концов из игры и брался за гармонь. Играл он чисто, без фальши. Начинал с чего-нибудь длительного и многогласного.

Ревела буря. Дождь шумел.
Во мраке молния блистала...

Но скоро ему надоедало подыгрывать Мефодию и он переходил к вещам попроще:

О, моя кохана,
Покажь мне коляна,
Покажь мне обои,
Чи таки як мои...

Была еще одна песенка с простенькой мелодией, слов которой никто не знал, но которая нравилась больше других. Из начала было известно, что речь идет о Насте. Из конца знали припев:

За колечко, за колечко, за колечко, за кольцо!..

Пели без слов, бубня как придется, но припев подхватывали все хором и с одушевлением.

Филька с молотком и колечком на палочке присаживался к Снелю, заводя игривый разговор и перебирая разные нации.

— Снель,— спрашивал он между прочим,— ты имел когда дела с японками?

— Нет,— говорил Снель.— А что?

Филька в ответ взглядывал на него значительно и даже с упреком.

— Они вежливы...— говорил он с таким ударением, точно уличал Снеля в непонимании простейших вещей.

Привлекало его в японках то, что они были маленькие, а он большой, они чистенькие и надушенные, а от него шинелью и сапогами пахло, что, придя к ним, он не знал, как сесть, и дураком себя чувствовал, а они папиросами его угощали и бумажные салфеточки дарили.

Из других его воспоминаний неожиданно выяснилось, что он некоторое время был даже курильщиком опиума. В это трудно было поверить, глядя на его совсем не экзотическую, ухмыляющуюся физиономию.

— Народ здесь неправославный,— говорил Антон, присаживаясь к ним.— Живу и удивляюсь. Когда едят, п..., и чем громче, тем считается лучше. Случилась со мной такая внезапность на гумне при всех, я чуть со стыда не сгорел, посмотрел, а девицы хохочут, в ладоши хлопают, довольны. Кричат: „Ах, Антон! Ах, этот Антон! Как он п... Как он смердит!"

— И как к девице подойти — тоже не знаешь,— вел Антон дальше. Намедни насыпал я нашей Иде половы под юбку — отряхается, ржет, довольна. А потом взгрустнулось мне, обнял я ее по-человечески, как сестру свою обнимал,— обиделась, да так обиделась, что едва спасся.

— Не ври особенно...— вставлял Максим. Он работал через двор от Антона и знал его приключения.— Если ты когда и спасался от Иды, так совсем по другой причине. Уж очень она на тебя наседает.

Антон этого не подтверждал, но и не отрицал. Он был единственный из команды, у кого была открытая любовница. Большинству время и место решительно не позволяли этого, и очень многие жили в безбрачии, кто два года, а кто уже и три. Филька, работавший вместе с тремя товарищами, жил в особо пакостных для этого условиях, но однажды склонил на любовь хозяйскую стряпуху, расставил товарищей вестовыми на случай появления хозяев, а сам уединился с ней в конюшне. Стряпуха была девица бойкая, но так как она находилась в конюшне, где ее присутствие ничем нельзя было

объяснить, то она прежде всего стала думать, что она скажет хозяевам, если они ее увидят выходящей оттуда, и при этом волновалась до обморока, а Филька метался около, успокаивая ее и улещивая. На это и ушли те короткие минуты, которыми можно было воспользоваться. Ближайший вестовой постучал в дверь, извещая об опасности, стряпуха стрелой вылетела из конюшни, и Филькины труды пропали даром.

— Ну, а как твои дела,— спрашивал Антон Снеля с заметным интересом.— У тебя их там две. Неужели не перепадает?

Снель качал головой.

— Даже с Хедвиг? — удивлялся Антон.

— Даже с Хедвиг,— подтверждал Снель. Если б он даже и соврал что-нибудь насчет Хедвиг, это бы их мало заинтересовало. Им хотелось услышать что-нибудь насчет Анны. Благодаря ее невинности и миловидности она казалась им самой интересной и загадочной девушкой в деревне.

— Нет! — говорил Максим, наблюдая Снеля жадными глазами.— До тебя у Фурманов Семен жил. Он их обеих в струне держал. Они у него около ног вились... А про Хедвиг говорил, что она девица объезженная...

Снель настораживался.

— Ты не такой человек,— добивал его Максим,— ты не можешь...

Что касается Семена, то Снель слышал о нем много. Это был должно быть очень сильный человек. Он показал Фурманам очаровавший их фокус. В первый же день по приезде он, рубя дрова, всадил топор концом острея в большое полено, поставил топорище себе на кончик пальца и продержал все сооружение стоймя столько времени, сколько было нужно, чтобы очаровать Фурманов до беспамятства. Правда, проделав этот фокус, он сейчас же отправился на сеновал отдохнуть и отдыхал на нем почти сплошь два месяца, не переставая быть предметом обожания со стороны Фурманов, потому что они знали, что он м о ж е т...

Однако через два месяца он напился пьян и изругал немецкого фельдфебеля, за что был отправлен в лагерь, а на его место к Фурманам спустя много времени прислали Снеля.

Тоня, партнеры которого окончательно разбегались, принимался гадать на картах, причем и он и желающие узнать свою судьбу приходили в волнение и серьезность. Гадал Тоня формулами из „Новейшего Соломона“ и выбирал из них больше такие, где обещалось мало хорошего для ближайшего времени и вознаграждение предвиделось лишь в отдаленном будущем. Он изображал каждому его жизнь так, точно она была скоплением запутанных интриг, где блондины противодействовали счастью слушателя с брюнетками, или наоборот, причем и шатенок и рыжих тоже надо было остерегаться, потому что втайне они были враждебны и в самый последний момент могли стать на его пути. И, слушая такие его вещания, бывший урядник Чайка, приземистый седоватый человек, в задумчивости фельдфебельским жестом крутил свой сохранившийся пушистый ус, припоминая, какие такие блондинки и шатенки были в его жизни, и вдруг, вспомнив что-то, менялся в лице, скорбел, крутил головой и говорил с настоящим чувством:

— Верно! Все верно!..

Иногда Тоня делал предсказания совершенно странные, вроде: „Во тьме вас страшно ушибут“, отчего у слушателя расширялись глаза и на лице появлялось опасливое выражение.

Во время гадания Тоня, по примеру цыган, не забывал время от времени прерывать предсказание и, левой рукой прикрывая карты, правую косячком протягивал слушателю:

— Позолоти руку...

Давали ему на позолоту пфенниг или два. Он взволнованно благодарил.

Мефодий, наскучив покоем и молчанием, принимался петь, сначала лежа на постели, вполголоса, для собственного удовольствия. Начинал он с „Разорившегося барина“.

В трактир, бывало, я явлюся,
Лакеи все ко мне толпой.
А нынче только покажуся,
По шее гонят, братец мой...

И „братец мой“ выходило у него такой великолепной скороговоркой, что ясно чувствовалось подражание какому-то

граммофонному образцу. Затем шли куплеты о солдате, у которого было тридцать копеек жалованья, а расходов на рубль тридцать. Эта песня называлась „Стритца, бритца тоже надо" и исполнялась, как и первая, с отделкой, но без большого чувства.

Настоящее одушевление и нежность приходили к нему попозже, когда он запевал „Я опущусь на дно морское". Но только эти строфы в его исполнении приобретали дикий вид, он пел их так:

Я опущусь на дно морское,
Я подымусь за облака,
Я дам тебе все, все земное,
Лишь полюби, шельма, меня...

И напирал на эту шельму, произнося слово со смаком. Точно так же искажал он и другие известные строки:

Мы случайно с тобой повстречались,
Было много в обоих огня.
Мы недолго в сомненьях терялись —
Полюбила ты, стерва, меня...

Филька в углу рассказывал анекдот о монахине и купце на пароходе, причем монахиню изображал игривой и делающей авансы, а купца благочестивым и сопротивляющимся.

— Преподобная монахиня,— говорил он за купца окающим клиросным голосом,— как мне разуметь вас? Вы, которая поете такие шикарные псалмы...

— Всуе глаголешь, брате,— пищал он скороговоркой за монахиню.— Тайна сия велика есть...

В другом месте Антон изображал поучение с неба жителям земли и начинал с трубного звука:

— Тру-ту-ту!

— Кто трубит?—спрашивал он за жителя земли.

— Голос з неба...—отвечал он себе же с нерусским акцентом и этим же голосом произносил самое поучение, состоящее из удачно скомбинированных, но отборных и непередаваемых выражений.

В углу шел разговор на тему, которой многие избегали

касаться: о женах, оставшихся дома без мужей на много лет. Кто-то определенно доказывал кому-то, что его жена не сохранит ему верности столько времени.

— Пустяки, — возражал собеседник, — я у своей, как уезжал, слона на животе нарисовал. Обязана сохранять до моего возвращения.

К сумеркам никому не хотелось лежать. Хотелось размяться. Затевали игры. Венчали Фильку с Тоней по церемониалу. Антон дьячковским голосом возглашал:

Как из Ганиной рощи
Выходили святые мощи...
Сам при кожаных штанах,
И щетинка в зубах,
Да и при фартучке...

Остальные по сигналу вопили:

И-го-го!

Филька с Тоней целовались, после чего следовал заключительный припев:

Да исправится молитва моя,
Раскачается кадильница моя...
Тырли-мырли, калинка моя,
В саду ягодка малинка моя...

Пускались в пляс. Первенство тут принадлежало Мефодию. Он умел и выбегать и ногами выделывал как следует. Его недоброжелатели и тут находили недостаток, но только тот, что он малого роста.

Фридрих подражал ему и топтался один где-нибудь в сторонке, огромный, несуразный, но красивый.

Привлеченный шумом и топотом, от которого внизу падала штукатурка, являлся конвойный, прекращал танцы и велел готовиться к выходу на ужин.

Праздничный день можно было считать конченным. Остаток дня проводили у хозяев, за уборкой скотины, за ужином, и хотя человек чувствовал в себе какую-то особенную неистраченную за день силу, конец дня немногим отличался от будней.

8

В этот год весна не наступала долго. Больше всего снегу выпало как-раз под пасху, и в первый день, чтобы итти в церковь, люди должны были прокладывать себе дорожки в снегу. Изречение народной мудрости: „Grüne Weihnachten, weisse Ostern“,[1] напечатанное в календарях, подтвердилось блестящим образом. Его вспоминали в каждом доме, оно повторялось при всех разговорах на улице. В сущности, все разговоры при встречах и прощаньях и состояли из одного этого изречения, но произносимого с такими различными интонациями, что, повторенное каждым собеседником, оно производило впечатление какого-то обмена мнений. Кто-нибудь произносил его с юмором, приглашая полюбоваться белыми полями на пасху, другой в ответ повторял его же, но со вздохом, третий вдруг выкрикивал то же самое с каким-то торжеством, давая понять, что он знал это заранее. У Фурманов его повторяла по всяким поводам Хедвиг и всегда при этом так умилялась, точно это были золотые слова, говорящие самой душе, к которым остается прибавить еще пару таких же изречений, чтобы ей хватило мудрости на всю жизнь.

Старик не искал утешения в пословицах, и никогда его хандра не была более глубокой, чем теперь. Анна каждое утро вспоминала, что они делали в этот самый день в прошлом году, и оказывалось, что тогда они уже отсеялись в тот день, в который теперь им приходилось пробавляться починкой заборов и щипаньем перьев. Старик от вынужденного безделья не находил себе места. Снель однажды, войдя в комнату, застал его у окна что-то бормочущим и глядящим вдаль на размытые поля с выражением старческой тоски на лице, из его набухших век слезы текли по щекам, а он их не замечал. Снель, несмотря на все свои нелады с ним, пожалел его в этот момент.

И вот как-раз, когда уныние в доме стало угнетающим и

[1] Если на рождестве поля зеленые, пасха бывает на снегу.

затяжным, неожиданно стало известно, что по деревням округа ездит ревизор из инспекции военнопленных, который на месте разбирает заявления хозяев, и что его в ближайшие дни можно ждать в Комице.

Хозяева, у которых работали пленные, зашевелились. У Фурманов день прошел в разговорах украдкой, в собирании слухов, а вечером, после того как Снель ушел в казарму, было изготовлено новое заявление, где повторялись все прежние аргументы и в трогательных выражениях указывалось на безвыходное положение семьи.

Снель, несколько дней спустя, работал в коровнике, когда в дверь постучали и сказали, чтобы он вышел наружу. При объезде деревни ревизор заглянул и во двор Фурмана. Это был майор из запасных, человек колоссальных размеров и с очевидным штатским прошлым. Он стоял во дворе, пробегая глазами заявление Фурманов, повидимому, не очень отличавшееся от сотен других поданных ему заявлений, потому что он не прочел его целиком, а где-то на половине сложил и вернул Фурману. Он посмотрел на приближающегося Снеля скучающим, но человеческим взглядом, что произвело на того впечатление приятной неожиданности.

— Ну, в чем дело? — спросил он старика, когда все оказались налицо.

— Герр майор, — начал старик с достоинством и, к удивлению Снеля, обнаруживая ораторские манеры. — Я стар. Оба мои сына убиты на войне. Мои дочери только слабые девушки. Если б у меня был сильный, настоящий работник, я мог бы надеяться, что хозяйство не пропадет. Но, герр майор, работник, который мне попался...

Тут следовала характеристика Снеля, содержавшая такие преувеличения его недостатков, что Иоганна впоследствии должна была извиняться за старика перед Снелем, говоря, что иначе он не мог поступить.

Белокурый подпрапорщик был тут же, но только теперь он совсем не был таким величественным, каким Снель видел его в канцелярии. Странным образом, за все время, пока майор был во дворе, ни одна неожиданная, важная мысль не при-

шла подпрапорщику в голову, чтобы погрузить его в рассеянность и озабоченность. Он даже не позволил себе ни разу задуматься над чем-нибудь на полминуты, как это с ним то-и-дело случалось в бюро. Наоборот, он был весь внимание и, изогнувшись, откуда-то сбоку, почтительнейшим образом добавлял майору что-то от себя о Снеле, а майор с высоты склонял к нему ухо.

— Он ни на что не способен,—говорил старик о Снеле.— Его бесполезность вопиюща. К сожалению, он умеет болтать по-немецки. Он всю зиму проболтал с моей младшей дочерью, но теперь наступает весна...

При упоминании о младшей дочери Анна вспыхнула и смутилась так, что даже сделала движение скрыться в дом. Майор подавил улыбку.

— Для настоящей работы,—продолжал старик,—у моего пленного нехватает ни силы ни...—он замялся и покосился на Снеля.

— Ни разумения...—окончил он голосом более глухим, чем остальное.

— Отчего же,—сказал майор с неудовольствием.—У него осмысленное лицо. Вообще, он совсем бравый парень...

— Герр майор,—вскричал старик, видя свое дело проигранным.—Обратите внимание на его спину... С такой спиной он не выдержит косьбы. Я понимаю в этом кое-что, герр майор...

Он подскочил к Снелю и собственноручно повернул его спиной к майору. Снель, видя его волнение, простил ему его неприятную порывистость. Он простоял, как его поставили, некоторое время, добросовестно демонстрируя свою спину. Когда ему это надоело и он повернулся, он увидел, что майор, отметив что-то в своей записной книжке, поворачивается к выходу, а подпрапорщик спешит за ним, успевая и делать знаки Фурману и забегать сбоку майора, что-то ему докладывая.

А еще через неделю пришла бумажка, по которой Снель подлежал переводу в другую деревню в артель Мая, а оттуда должен был приехать на его место „соответствующий своему назначению“ военнопленный.

Последний день перед отп ав был чем-то вроде праздника.

— Вальдемар, — сказал старик Снелю еще засветло, — так как завтра тебе предстоит дорога, тебе не требуется работать. Иди в комнату, читай газету.

Хедвиг и Анна для этого случая были одеты наряднее, чем обыкновенно, и относились к нему с заметно увеличившейся симпатией. Необычность этого положения, где человека любили как-раз за то, что он уезжает, была бы обидна, если б Снель сам, к удивлению девушек, не обнаружил большой и действительной радости. Он также много выигрывал от этого перевода. На новом месте в артели, где он был безусловно свободен от всяких обязательств, он мог двинуть вперед предприятие с побегом через границу, то единственно важное дело, ради которого он и приехал в эти места. Он тоже чувствовал себя воскресшим для новой жизни.

В этот вечер и Фурман, казалось, переменил свое мнение о Снеле. Он засадил его играть в реверси с Антоном и обнаружил много светскости, несколько раз, как вежливый хозяин, подходя к играющим и интересуясь ходом дела. Он явно желал победы Снелю, и так как Снель играл синими, он говорил:

— Ну, конечно, синие одолевают...

А когда Снель действительно выиграл, он искренно и простодушно объявил:

— Этого и следовало ожидать. Снеля не так-то легко обыграть. Снель башка. Он грамматику знает.

— А мы все боялись, что ты от нас убежишь, — сказали Снелю девушки по секрету.

— Вы были правы, — ответил Снель со смехом. Он припомнил, сколько раз за все это время он решал, что он „в праве“ бежать, и сколько раз, что он „не вправе“ этого делать.

Но теперь это было в прошлом и вызывало только улыбку.

КРИВЫМ ПУТЕМ

1

День первого мая девятьсот семнадцатого года для Альфонса Вейнерта, крупного силезского крестьянина, ознаменовался волнениями. В этот день из Берлина пришла открытка с точным обозначением вокзала и поезда, к которому его сын Адальберт должен был явиться, чтобы отправиться с батальоном на фронт. Это значило, что все хлопоты, предпринятые для оставления его в тылу, неоднократные поездки к окружному начальству, несколько докторских свидетельств, удостоверяющих наличие у Адальберта наследственного порока сердца, и даже глубокий порез пальца, полученный — возможно, не намеренно — при разборе жнейки, — все это оказалось недостаточным, чтобы задержать его отправку и на один день.

Другим событием в этот день было появление во дворе Вейнерта фельдфебеля из инспекции военнопленных, приведшего с собой какого-то хилого, малосимпатичного, чернявого русского пленного и предъявившего бумажку, по которой новый пленный должен был оставаться в хозяйстве Альфонса, а взамен его фельдфебель уводил одного из пятерых русских, работавших у Вейнерта уже второй год. Альфонс должен был сам решить: кем из пятерых он согласен пожертвовать, и эти размышления и споры с фельдфебелем заняли несколько часов и стоили ему волнений.

Трое из пленных — крестьяне-пермяки, косари и силачи — были с самого начала исключены из обмена. Четвертый, кав-

казец, не косил, но годился на многое и, между прочим, чтобы стоять у мотора во время молотьбы и подливать бензол. Пятый, тоже кавказец, был хорош как кучер при выездах в коляске: нигде в округе Альфонс не встречал кучера, который бы сидел так прямо и с такой истуканской неподвижностью. Альфонс все-таки, в конце концов, решил пожертвовать приятным полезному и согласился выдать пятого, который и был вызван с работы и без особых разговоров уведен фельдфебелем со двора.

Новый пленный во время переговоров стоял в стороне, с утомленным и безучастным лицом, хотя Альфонс не однажды вперял в него негодующий взор, оценивая его силу и годность к работе. Хуже всего была отметка в его бумаге, что за ним уже числится один неудачный побег с работы, в то время как из пленных Альфонса еще ни один не бегал, и новый пленный мог испортить остальных. Замечание фельдфебеля, что едва ли он решится бежать еще раз, ибо достаточно проучен и за первую попытку, совершенно не успокоило Альфонса. Оставшись после ухода фельдфебеля наедине с новым пленным, он еще раз с негодованием оглядел его, придумывая, на какую бы работу его послать.

— Кюе путцен! — вскричал он, багровея, ибо из осмотра лишний раз убедился, что новый пленный ничего не стоит и годится разве в стойла чистить коров. — Кюе путцен!

— Кюе путцен!—в восторге подхватили дворовые ребятишки, следившие за этой сценой через окна и не удержавшиеся от удовольствия передразнить громовые интонации Альфонса.

Они обступили нового пленного любопытной, но дружелюбной толпой, провели его в коровник, где более полусотни коров томились на цепях, дали штригель и щетку и поставили на место, объявив, что они дадут ему знать, когда Альфонс или Марта покажутся вблизи, а до той поры он может не надсаживаться.

Альфонс, проводив нового пленного глазами, расстроенный, вернулся в дом, собираясь отдохнуть. Он был тучен, всякие волнения были для него гибельны, неудачный обмен рабов надолго разбередил его. Он хотел прилечь, но еще одна неожи-

данность помешала ему. Это был Гуго Шуберт, пришедший наниматься в работники и терпеливо ждавший, пока Альфонс покончит с более важными посетителеми.

Гуго Шуберт провел десять лет в чужих краях, состарился и теперь вернулся в Козельберг, чтобы жить на родине. Альфонс не сразу узнал его. Когда-то Гуго считался красавцем и задирой, — об этом сохранились воспоминания, — однако странствия и жизнь на чужбине сильно изменили его: сейчас это был высокий сутулый человек, с сединой в волосах и следами сифилиса на лице, смирившийся перед жизнью, в присутствии Альфонса не надевавший шапки и почтительно моргавший вывороченными веками.

Гуго Шуберт явился кстати: во время войны взрослые работники всегда были кстати, особенно весной, и Альфонс с места дал понять, что возьмет его. В сущности Гуго делал Альфонсу честь тем, что явился именно к нему, ибо его так же легко взяли бы и у Криштофа и у Гауке. Впрочем легко можно было догадаться об истинных причинах этого предпочтения: не было ли это желанием работать в одном дворе с Каролиной, той самой Каролиной, из-за которой он когда-то и отправился странствовать и которая два последние года вдовела?

Эта мысль нашла себе подтверждение, когда речь зашла о помещении для Гуго. Комната рядом с конюшней, где ночевали Шульц, Корль и другие одинокие работники Вейнерта, на ближайшее время удовлетворяла Гуго, но в дальнейшем он рассчитывал получить отдельную квартиру. Альфонс не стал особенно расспрашивать, зачем ему нужна отдельная квартира, и сказал, что квартира найдется. На этом разговор с Гуго кончился, он взял по обычаю от Альфонса два старых серебряных талера, как знак найма. С завтрашнего дня он должен был начать работать.

Альфонс Вейнерт жил по часам. Он не признавал летнего перевода стрелки на час вперед, и все его рабочие также были обязаны не признавать его. До шести утра и между двенадцатью и часом пленные могли сидеть в кухне, пить сахариновое кофе или обедать, и Альфонс не требовал, чтобы

они в это время интересовались чем-либо происходящим снаружи. Но ровно без двух минут шесть и без двух минут час он выбегал на середину двора и выкрикивал расписание предстоящих работ: кто на какое поле пойдет, какую лошадь запряжет, какие вилы и из какого сарая возьмет. Расписания были сложны, как диспозиции армии перед боем, и произносились громовым голосом, который раскатами отдавался в многочисленных, перенумерованных, пустых перед жатвой сараях.

Это было что-то вроде ежедневного богослужения, ибо не только пленные, но и немцы-работники плохо понимали его отрывистый крик, и дело шло без запинки главным образом потому, что люди, работавшие на его полях, знали, чего можно ожидать на каждый день, и понимали все с полуслова.

Ровно в шесть и ровно в час начиналось движение пеших рабочих в поле, за ними выезжали конные. Сам Альфонс скрывался в дом, чтобы окончить еду, а затем выходил в поле смотреть, как выполняются его приказания. Он наблюдал, распоряжался, взбадривал работников, уличал их в нерадивости, очень редко высказывал им свое удовольствие. У него была привычка появляться внезапно в самых неподходящих местах. Говорили, что прежде от него нигде не было спасения, но с годами тучность и одышка умерили его рвение. Случаи нерадивости и глупости слишком волновали его, и на многое он теперь сознательно закрывал глаза. Он отходил в сторону, багровея, хватаясь за сердце, но не говоря ни слова.

2

Нового пленного звали Костей. Товарищи также называли его „сержантом“, ибо на войне Костя был унтер-офицером, но употребляли этот термин скорее в ироническом смысле. Это был городской человек, беспомощный в деревенском быту. То, что ему поручалось, он старался выполнить, не любил стоять без дела и потел больше всех во дворе, но каждый пустяк ему давался с трудом. Альфонс полагал, что он попросту глуп, и приближался к нему со страхом, всегда ожидая от него поводов для волнений.

Среди лошадей Альфонса имелись два молодых шиммеля, коричневых, совершенно одинаковых, отличавшихся только тем, что один из них был чуть-чуть побольше другого. Любой мальчишка во дворе Вейнерта с первого взгляда различил бы, какая именно из них побольше и какая поменьше, только не Костя, который, если ему случалось получить от Альфонса приказание: „запрячь маленькую“ — попадал в затруднительное и смешное положение. Он шел в конюшню, по дороге проклиная себя за то, что никак не может запомнить: справа или слева стоит маленькая? Он подходил к лошадям и, напрягая всю свою зоркость, оглядывал их сзади и сбоку. Он убеждался через момент, что лошадь справа была заметно меньше левой, и уверенно брался за правую цепь. Но, прежде чем вывести лошадь, он хотел еще раз убедиться в своей правоте, заходил с другого бока, снова оглядывая лошадей, — и его уверенность исчезала. Странным образом ему начинало казаться, что лошади совершенно одинаковы, вернее даже — левая лошадь не больше, а меньше правой. Он падал духом, привязывал правую лошадь на место, топтался в стойле, звонил кольцами, симулировал какую-то деятельность.

— Где вы, Костиа? — рычал со двора Альфонс. — Или лошади съели вас? Поторапливайтесь, выводите маленькую...

— Ее надо почистить — кричал Костя в отчаянии и, чтобы протянуть время, хватался за щетку.

— Мой бог! — удивлялся Альфонс, появляясь в дверях. — Зачем вам чистить левую лошадь, если запрягать надо правую?..

Или:

Костя маленьким плужком на смирнейшем Фрице опахивал бурак, а Альфонс стоял рядом и изнурял его поучениями. Среди бурака местами торчали стебли красного мака, и требовалось смотреть, чтобы плужок, ерзая, не срезал маков, которые у Альфонса были на счету.

— Следите за тремя вещами, Костиа... — однотонно повторял Альфонс: — чтобы лошадь шла по середине борозды, чтобы она не наступала на растения, чтобы она не забрасывала их землей. Это так просто, Костиа. Всего три вещи, за

которыми надо следить: чтобы лошадь шла по самой середине борозды, чтобы она не наступала на растения, чтобы...

Поучение, повторенное с десяток раз, приводило как-раз к противоположному результату, и Костя, вначале пускавший лошадь довольно прямо и удачно обходивший опасные места, кончал тем, что загонял плуг вкось и сбивал маки самым бессмысленным образом. Альфонс хватался за сердце и без слов отходил.

Был также случай с картошкой, который плохо отразился на репутации Кости. Картошка в огороде при доме была посажена гораздо раньше, чем на поле, и уже успела высоко прорасти к тому дню, когда на поле лунки только заваливали землей. И когда Альфонс сказал Косте полоть картошку, он никак не предполагал, что Костя пойдет не на огород, а именно в поле и будет там бродить вдоль черных гряд, вытаскивая случайные травинки. Застав его за этим занятием, Альфонс серьезно усомнился в его умственных способностях. Даже собственные товарищи Кости, другие русские пленные, знавшие, что Костя не дурак, но, как городской человек, до войны служивший на телеграфе, мало что понимает в крестьянстве,— даже они, узнав о случае с картошкой, посмотрели на Костю по-новому. Они и прежде по разным поводам подтрунивали над ним и уже привыкли к тому, что по утрам он никогда не помнил, где с вечера оставил вилы, но идея полоть картошку на другой день после посадки была чересчур глупой даже для бывшего телеграфиста.

— Вот что, сержант, — оценив положение, сказал Косте пермяк Никита:— если останешься у Альфонса до осени, много горя примешь...

— Рад бы не оставаться, — отвечал Костя уклончиво, — да ведь меня не спросят...

Жест выражал покорность судьбе, но в глазах товарищам почудилась неискренность. Они знали, что за Костей числится побег, знали также, что человек, бежавший один раз, не остановится и перед новой попыткой, и едва ли могло быть, чтобы Костя не думал об этом.

— Держись около нас,—сказал ему другой русский, Игнат.— Там, где трое работают, четвертый может крутиться...

Это звучало как обещание дружеской поддержки, обещание, и без того ежедневно десятки раз выполнявшееся на деле, — и в то же время обидно обнажало действительную сущность отношений: они работают, он крутится.

Его только интересовало, куда в их расчетах девался еще один пленный, кавказец Гурген, который при молотьбе становился к мотору: работал ли он или тоже крутился?

Мнение Альфонса на этот счет также было совершенно определенное.

— Я кормлю пятерых, а работают у меня трое,— воскликнул он однажды, беседуя с фельдфебелем, вновь посетившим его.— Четвертый бывает полезен. Но пятый... Ради бога, за какие преступления вы посадили мне на шею этого пятого?

Итак, как ни старался Костя, то, что он делал на дворе Вейнерта, ни на чьем языке не называлось работой. Поняв это, Костя осел. Он потел попрежнему, но только чаще стал посматривать на горы вдали, за которыми была Австрия, первый этап всех побегов из этого района Германии.

3

Чаще всего Альфонс посылал Костю работать вместе с женщинами—полоть пшеницу или на картошку и бурак. С женщинами Костя чувствовал себя уверенно; они знали, когда надо поработать и когда можно присесть, знали, с какой стороны следует ожидать Альфонса и на какое количество работы он в праве рассчитывать.

Из женщин самая немолодая звалась Анне-Мари. У нее была крошечная фигура и ревматические ноги, и, когда в подоткнутой юбке, не сгибая колен, она шла по полю, она была похожа на блеклую фарфоровую пастушку, подвигавшуюся голландским шагом на невидимых коньках. Ей было пятьдесят шесть лет, но и в пятьдесят шесть лет она все еще краснела при упоминании о том, что у нее есть дочь, ибо родила ее лет тридцать назад, не будучи замужем. Дочь жила че-

рез несколько станций от Козельберга, и у нее давно уже были свои дети. Анне-Мари навещала их, но свои поездки обставляла тайной. Семейству ее дочери отдавалась и бо́льшая часть хлеба, который она зарабатывала у Альфонса. Сама она жила впроголодь. Костя видел, как однажды она подняла с земли сальную бумажку от бутерброда.

— От нее пахнет мясом... — говорила она, блаженно принюхиваясь.

Анне-Мари знала историю каждого двора в Козельберге и могла бы многое рассказать, если б была в состоянии доводить свои истории до конца. Из ее рассказов ничего не выходило, потому что обычно одни ее истории на середине перекрещивались с другими историями и одни и те же имена начинали играть роль в событиях противоположного характера.

Когда Анне-Мари начинала путать, другая женщина, беленькая Каролина, которая по годам могла бы быть ее дочерью, резко поправляла ее. Казалось, путаница в рассказах Анне-Мари причиняла Каролине физическую боль, и чем дальше заходила путаница, тем больше страдания выражало ее лицо. И Анне-Мари, робевшая от окриков, привыкла, рассказывая что-нибудь, глядеть ей в лицо, и в зависимости от его выражения рассказ ее то шел бойко, то с заминками, то обрывался совсем. Без одобрения Каролины то, что рассказывала Анне-Мари, было недействительно.

Точно так же, если во время работы Анне-Мари говорила, что пора присесть отдохнуть, это еще не значило, что все действительно последуют ее приглашению и сядут; требовалось узнать, что думает Каролина, и если Каролина находила, что отдыхать рано, работа продолжалась. Если же сама Каролина говорила, что пора отдохнуть, никаких одобрений ни с чьей стороны больше не требовалось.

Каролина в тридцать пять лет была не лишена приятности. Спереди у нее нехватало зуба, и это портило ее общий облик маленькой белой мыши. Сохранившаяся у здешних женщин манера подпоясываться двумя ремнями—одним повыше, другим пониже талии—также не шла ей, ибо собственно талии у нее уже не было. Остроконечная соломенная шляпа, с козырьком

для глаз, надеваемая для работы, была ей велика. Зато синие глаза, глядевшие из-под козырька, привлекали печалью и задумчивостью и делали ее существом более поэтическим, чем остальные женщины.

Возможно, именно ее грустные глаза понравились Игнату, одному из русских пленных, или же привлекала его ее вдовья степенность. Он выделял ее среди других женщин. Он ничего не имел против, когда стряпка Хедвиг сошлась с Никитой, его однодеревенцем, не обратил внимания, когда работницей-полькой завладел кавказец, но показывал зубы, если видел чьи-либо поползновения в сторону Каролины.

Костя однажды на себе испытал, что значит злоба Игната. Костя знал немного по-немецки и однажды завел с Каролиной разговор, невинный, но которого Игнат не понимал. И вот неожиданно на него обрушилось столько окриков по работе, такая ненависть была во взгляде Игната, что Костя опешил. Товарищи объяснили ему, в чем было дело.

Повидимому Игнат не признавал легких отношений и любви на время и вскоре стал смотреть на Каролину как на свою жену. Сам он, в его теперешнем положении, был парией, бесправным существом, которое ежедневно под конвоем приводилось на работу, а вечером тем же порядком уводилось в казарму на ночлег. Цена ему была, кроме харчей,—двадцать пять пфеннигов или двенадцать с половиной копеек в день. Он был обязан молчать, во всем зависел от конвойного, носил платье с арестантскими вырезами и номером на груди, был придатком к паре собственных рук, которые в сущности и обозначались его именем и фамилией. Но впоследствии, с окончанием войны, эти самые руки должны были открыть ему дорогу куда угодно, и он только не знал, повезет ли он Каролину с собой в Россию или останется с ней в Германии.

Странная была эта любовь, где любовники уже второй год объяснялись взглядами и жестами, или же словами самыми будничными и самыми грубыми, где все разговоры происходили на людях во время работы, а для встреч наедине оставались минуты во время обеденного перерыва, если путь в комнату Каролины был свободен.

Разговор с Каролиной, из-за которого чуть не пострадал Костя, а также другие его разговоры с женщинами — объяснили ему, в чем собственно заключалась грусть, так таинственно отражавшаяся в ее синих глазах. Каролина грустила, что осталась одна вдовой, с семилетним Фрицем. Она чувствовала себя беспомощной в настоящем, ее беспокоило будущее. В плохую погоду она говорила, что наверное прежде в такой день ей незачем было бы выходить в поле, что работал бы муж, а для нее нашлась бы работа и дома. Каждую пятницу она по утрам вспоминала, что замужние работницы в эти дни не выходили в поле: по пятницам до обеда им полагалось печь хлеб в Альфонсовой печи, ибо паек у Альфонса они получали мукой, а не готовыми короваями, как одинокие работники. Ей не полагалось ни болеть ни лениться, она должна была каждый день итти, куда скажет Альфонс, между тем она была хрупка, и сил у нее становилось все меньше.

Игнат с его привязанностью был ей дорог, — но все, что касалось Игната, ей представлялось фантастическим: на что можно положиться, когда человек даже не может рассказать словами, чего он хочет, и только показывает рукой, что когда-то они вместе куда-то уедут? Между тем Каролина никогда в жизни не выезжала из Козельберга, даже на ярмарку в окружной город ходила не каждый год, и широкий жест Игната не умещался в ее голове.

Кроме того ее беспокоил Гуго. Она знала, что он не спроста поступил работником к Альфонсу, догадывалась о его планах и страшилась их. Они казались ей невозможными, но она чувствовала себя беспомощной против них.

Если Каролина, с ее грустью, напоминала безобидную беленькую мышку, то ее сестру Берту, жену коровника Винтера, также нередко выходившую в поле, скорей можно было бы сравнить с матерой серой крысой, разгуливающей на задних лапах. У ней были крысьи глаза и крысьи повадки. Во дворе Альфонса она была главным вредителем его добра. Разнюхивать, похищать, урывать что-либо из его богатств, по мелочам перетаскивать в свою нору — было ее ежедневной потребностью, хотя бы это была лишь связка мелких полешек

из его сарая, мерка картошки из погреба или огурец с его гряды. Огурец прятался в карман, по карманам же распихивалась картошка, поленья увязывались в сноп соломы и на глазах Альфонса перетаскивались через двор в коровник, откуда затем переходили по назначению.

Более серьезные дела начинались, если ее ставили к веялке, Тогда вместо полешек в снопы увязывались узкие мешочки с зерном, и дело грозило бы тюрьмой, если б сноп по дороге через двор развязался. Говорили, что операции Берты с зерном в предыдущий год приняли широкие размеры; один из пленных, обмененный кавказец, тот самый, который умел править лошадьми, сидя как палка, был ее помощником. Рассказывали даже о целой подводе с зерном, ловко среди дня вывезенной на мельницу. Гурген, товарищ обмененного, намекал, что когда-нибудь, уезжая в Россию, он расскажет обо всем Альфонсу. До тех пор Берта могла быть покойной. Никто из работников не путался в ее дела.

Среди двора у Альфонса стояла башня для птиц: внизу жили куры и утки, вверху голуби. Сам Альфонс лишь в редких случаях ел своих кур; он считал, что они ему не по средствам, для него резали голубей. Между тем, пересчитывая кур, он убеждался, что число их убывает. Это было делом рук Берты, которая находила, что ей Альфонсовы куры как раз по средствам, и между двумя похищениями не делала больших промежутков. Альфонс догадывался о причинах убыли, наливался кровью, но не подымал шума, избегая волнений. Десятые, двенадцатые доли похищенного расходились по рукам,—Берта знала, где и что рассовать, — все делались ее соучастниками и помалкивали.

В практике Берты были также случаи откровенного озорства. Она не только срывала огурец с гряды, но и вырывала с корнем побеги, доводя до слез Марту, жену Альфонса, которая никак не могла понять такой дикости. Даже сам коровник Винтер, ее муж, невозмутимо наблюдавший за всеми ее делами, сделал ей по этому поводу замечание.

— Пустяки,—ответила Берта:—Альфонс не обеднеет. У него много...

И засмеялась вынужденным полузадушенным смехом, не давая мужу продолжать.

Шутливые отговорки и вынужденный смех часто были ее единственной защитой, если против нее выдвигались обвинения.

— Ты плохая женщина, — кричала ей однажды в ссоре какая-то работница. — Ты портишь двор. Ты хуже всех...

— Неужели хуже меня нет? — отшучивалась Берта. — Бедная я грешница...

Костю она также не оставила без внимания и попыталась приручить его к себе.

— Костя, — подошла она к нему однажды, — я заметила: ты ходишь в амбар за овсом для лошадей. Альфонс дает тебе ключи?

— Да, — ответил Костя, удивляясь теме разговора, — я иногда хожу в амбар...

— В амбаре у Альфонса много зерна, не правда ли?

— Да, — подтвердил Костя, — там много всякого зерна.

— А не мог ли бы ты, Костя, прихватить немного зерна для меня? Какую нибудь горсть пшеницы или ячменя? Я бы сварила кофе. Я бы угостила и тебя, Костя.

— Во что же я его возьму? — уклончиво сказал Костя: разговор тяготил его, но оборвать его он не мог, чтобы не обидеть Берту. — Мне не во что взять зерно.

— А в карманы, милейший Костя, в карманы. Горсть утром, две горсти вечером — ведь в конце концов из этого должно что-нибудь получиться?

Костя кивнул головой и промолчал, но ни разу ничего ей не принес. Зато он заметил, что если за овсом ходил Пауль, пятнадцатилетний сын Берты и ее даровитый ученик, он спускался оттуда с оттопыренными карманами и красным лицом.

Пауль не был косым, но в этот момент глаза у него смотрели косо. По инстинкту он шел прямо на Альфонса, чуть не задевая его.

Альфонс сторонился, чувствовал неладное, багровел, но молчал.

4

К Паулю Костя питал симпатию. Сам он на работе потел и передвигал ноги, но, если б было можно, он всегда бы сидел. В сущности, с самого утра он уже чувствовал себя усталым и не без зависти наблюдал Пауля, который работал весело и как бы мимоходом.

Им случалось вдвоем чистить конюшню. Костя влачил свою тачку с медленностью раба на древних пирамидах. Он надсаживался, когда вкатывал ее вверх, надсаживался, когда она катилась вниз, таща его за собой, и обыкновенно она опрокидывалась не там, где он хотел. То же самое у Пауля выходило много веселее: он с раската вгонял тачку вверх, а затем пускал ее лететь по доскам, куда ей заблагорассудится, и однако навоз у него разлетался пластами, не оставляя горбов.

Пауль легко обращался с лошадьми, и, если ему требовалось заставить лошадь переступить на другое место, он тыкал ее чем попало в бок, даже не отклоняясь, на случай если бы она его ударила. Костя, который на задние ноги лошади всегда поглядывал со страхом и никогда бы не решился ее ударить, в такие моменты наблюдал Пауля с искренней завистью.

Если Альфонс посылал их вдвоем на лошади на последний участок, по дороге между ними бывали ссоры. Костя, всегда усталый и думающий о покое, любил тихую езду, чтобы можно было сидеть, свесив ноги через решетку, и, прищурив глаза, смотреть, как синеет овес на холме или как солнце пробивается сквозь сосны на далеких Судетах. Между тем на Пауля простор действовал возбуждающе, и он начинал горланить и гнать лошадь, не разбирая дороги. Костя, потревоженный в мечтаниях, сердился, пробовал его утихомирить, пытался отобрать у него вожжи. Это не всегда удавалось. Мир наступал после того, как Костя вынимал табак. Табак соблазнял Пауля, а взяв что-либо у человека, он уже не мог быть с ним грубым.

Пауль был покладист, но держал тон наравне с кем угодно.

Столкновения с ним и для взрослых не всегда кончались удачно; там, где он не мог взять силой, он отбегал и издали забрасывал противника грязью и чем попало. А человек со следами свежего конского помета на лице всегда имел глупый вид, как бы силен и грозен он ни был.

От матери он перенял любовь к похищениям: он не только отряхивал яблони в чужих садах или присваивал себе, что ему нравилось, из имущества товарищей, но не забывал и городских магазинов, где он бывал редко, но откуда уходил, обязательно унося какую-либо добавочную ценность, не оплаченную им и часто совсем ему ненужную. Костя видел, как однажды, в придачу к конверту, за который он заплатил, он унес бесплатно книжку, оказавшуюся „Афоризмами" Шопенгауэра. Книжка эта поставила его втупик тем, что была новая и неразрезанная.

— Как мне быть? — спросил он Костю, с удивлением разглядывая книжку и перелистывая сразу по шестнадцать страниц. — Я не могу ее читать, если листы слеплены вместе...

И после раздумья, с подъемом, свидетельствовавшим, что он дошел до решения собственным умом, он сказал:

— Я их разрежу!..

От отца, старого солдафона Винтера, он перенял некоторые солдатские замашки: здороваясь, он умел раскатываться навстречу как бы с почтением и, застопорив, протягивал руку, сплевывая в то же время на сторону. От отца же к нему перешло уменье ругаться и забрасывать противника прозвищами, иногда совершенно непонятными: проклятый жаворонок, милостивый государь, кисточка, свинячий ежик...

На слова он был скор и даже хвастал, будто на исповеди он каялся в стихах:

Ich habe geflucht, gelogen
Und Katze beim Schw nz gezogen...

что значило: я ругался, я лгал, я таскал кошку за хвост... Вероятнее всего, на самом деле этого не было.

Были вещи, перед которыми он робел: перед плакатом у кино, изображавшим необыкновенных людей, перед маши-

нистом на паровозе, орудовавшим сложной махиной, перед музыкантами за то, что они умели играть на трубах.

Сам он очень неплохо играл на губной гармонике. У него был верный тон и простая манера. Но странно, если его просили сыграть, этот малозастенчивый юноша робел и отнекивался.

— Я не умею, — говорил он, краснея и стараясь удрать, — я совершенно не умею...

Пауль и его легкость в работе внушали Косте зависть; но был во дворе Альфонса человек, который работал с еще большей надсадой, чем он, — хромой Корль. Разница была та, что Костя, несмотря на неохоту, все-таки крутился, Корль же не находил этого нужным. В поле, если его туда посылали, он занимался тем, что стоял на одном месте, поджав хромую ногу и наблюдая, в какую сторону пошел Альфонс. Если поблизости оказывались русские пленные, не любившие работать за других, они сердито окликали его, и Корль принимался работать, а потом жаловался Паулю, что русские — злые, нехорошие люди.

Недостаток внимания к его хромой ноге обижал его. Он жестами ссылался на нее, он взывал к милосердию и справедливости, но встречал равнодушие и подозрения в симуляции.

Хромота не мешала ему таскать тяжелые мешки, — это занятие он любил и, подставляя плечо, в ответ на неизбежное напутствие Альфонса, чтобы он не разбил мешка на лестнице, обиженно кричал:

— Я ношу полтора центнера вверх...

В такие моменты в нем просыпалась гордость человека, который что-то может. Обычно он отлынивал, как мог, и работать с ним в паре, не поссорившись, было невозможно.

Однажды Костя и Корль прочищали борозды на картошке. Костя вел лошадь по борозде, Корль держался за плуг и через каждые две борозды бросал поручни и садился отдыхать.

— Ну, ну, Корль, вставай, — взбадривал его Костя, потому что без понуждения Корль не встал бы никогда. — Мы еще ничего не сделали...

— Нога, — кратко говорил Корль, кивая на хромую ногу, и, считая вопрос исчерпанным, продолжал сидеть.

— Альфонс подымет крик, когда придет, — настаивал Костя. — Вставай, вставай!

— О ком он заботится? — удивлялся Корль. — Об Альфонсе. Поверь, у Альфонса и так хватит...

Он показал на Альфонсовы поля и на дом в отдалении, а затем перевел палец на себя: на свою грязную рубаху и заскорузлые ноги в сбитых опорках. Он предлагал Косте дискуссию по вопросу о богатстве и бедности, но Костя знал только, что если заданная работа не будет сделана, то вечером можно ждать разговора с конвойным.

— Все это прекрасно, — говорил Костя, не вдаваясь в подробности. — Но нечего сидеть по полчаса. Это не работа...

Он повел лошадь в борозду, в уверенности, что Корль не посмеет бросить плуг без управления и встанет, но Корль посмел и остался сидеть. Он с любопытством посмотрел Косте вслед и ухмыльнулся, когда плуг с первых же шагов въехал на гряду и срезал растение. Костя был вынужден бросить лошадь.

— Да встанешь ли ты, дохлая скотина! — в бешенстве подбежал он к Корлю и протянул руку к его шее. — Вставай сейчас же!

Он побаивался получить сдачи, ибо Корль был не слаб. К его удивлению, Корль съежился, ожидая удара, а получив по шее, заморгал глазами и сказал, что пожалуется конвойному.

— Пленный не смеет бить немца, — сказал он жалобно. — Это запрещено...

Из двух с половиной короваев, получаемых им по пятницам от Марты, Корль один продавал. С понедельника у него не оставалось хлеба, и до пятницы он должен был терпеть.

Жизнь его от понедельника до пятницы была мучительна. По утрам он выходил на работу, похлебав голого кофе, наесться он мог только картошкой за обедом, и дело осложнялось тем, что он никогда не знал, сколько ему оставалось

ждать до обеда, ибо был единственным работником Альфонса, не имевшим часов.

Часы у работников Альфонса были необходимой принадлежностью. У Кости они лежали в кармане штанов на цепочке и вынимались незаметным жестом, даже на глазах Альфонса. Часы Игната, серебряные, с крышечкой, были запрятаны подальше и вынимались реже. У Анне-Мари они были в кожаном браслетике, и, чтобы посмотреть на них, требовалось только выгнуть пухлую ручку, на что в присутствии Альфонса она не решалась. Часы Каролины, с несколькими крышечками и заводившиеся ключиком, вынимались в редких случаях. Зато ее сын, синеглазый Фриц, обладатель большого никелевого хронометра, также во время жатвы выходивший на работу, то и дело смотрел на часы и, пробегая по полю, радостно объявлял:

— Через тридцать пять минут феспер. [1]

А во время перерыва не менее радостно:

— Через десять минут вставать...

Течение времени само по себе забавляло его.

Корль, голодный и мучимый неизвестностью, носился по полю, мотаясь на сиденьи какой-нибудь усовершенствованной сеноворошилки.

— Ви шпэт? [2] — спрашивал он умоляюще, проезжая мимо и склоняясь с тычка, с нетерпением ждал ответа.

Было в обычае обманывать его. Ему говорили время на полтора часа назад, он с ужасом выпрямлялся и тащился дальше; только потом, сопоставив разные признаки, догадывался, что его надули.

— Ви шпэт? — спрашивал он уже в другом месте, всем своим видом говоря, что речь идет о крайне важном для него вопросе.

Тут ему называли время на час вперед. Корль радовался, но потом соображал, что и этого также не могло быть. Он переставал верить кому бы то ни было, влачился взад и впе-

---

[1] Полдник.

[2] Который час?

ред в самом печальном состоянии и, только увидев, что работавшие на лошадях один за другим поворачивают ко двору, догадывался, что наступило одиннадцать часов, час кормежки лошадей у Вейнерта. Корль приободрялся, чтобы снова затем огорчиться при мысли, что до обеда все-таки оставался целый час.

Корль был единственным во дворе Вейнерта, кто страдал от вшей. Он стыдился их и не чесался на глазах у других, зато постоянно шевелил плечами, дергался лицом, ежился и всегда имел вид человека, прислушивающегося к себе и ожидающего нападения откуда-то изнутри. Он зарабатывал гроши,— немногим больше пленных,—и рубаху получал раз в год в виде рождественского подарка от Альфонса. Та рубаха, которую „малютка Христос" принес ему в прошлую зиму, была плохого качества и давно загнила; нередко после работы, замученный вшами, он снимал ее и отдыхал, надевая пиджак на голое тело. В такие минуты он выглядел, как человек на полтора часа снятый с дыбы.

Русские пленные наблюдали его не без сострадания; они знали, что такое вши.

— Корль,— говорили они,— ходи веселей: веселого человека вошь не так кусает...

Корль до слез обижался, слыша такие советы, и укреплялся в мнении, что русские нехорошие люди, но когда, в придачу к советам, русские подарили ему чистую смену белья, он не знал, что ему думать. На некоторое время русский подарок помог ему, но затем началось старое.

Старик Шульц, также работавший у Вейнерта, был существом побольше карлика, но поменьше всякого даже и очень низкорослого человека. Он был обладателем большой губной гармоники с колокольчиками и черного осеннего пальто. Имущество это он носил с собой на работу в поле, повидимому опасаясь дома воров. Над ним смеялись и считали его чудаком, хотя на самом деле это была молчаливая демонстрация, он хотел привлечь общее внимание к случаям пропажи хлеба из его сундука. В краже хлеба он подозревал Корля, и не без основания, но объяснить это на словах

не мог или считал бесцельным, и только иногда неразборчиво ворчал, фыркал и шевелил выпяченными скулами.

Он был медлителен, и, если случалось, что один из снопов, которые он перетаскивал из сарая в коровник, по дороге падал на землю и развязывался, он останавливался в замешательстве.

— Один развязался... — вздыхал он, созерцая лежащий сноп. — Да, да, вот он лежит...

Он мог поступить двояко: положить на землю то, что оставалось в руках, вязать развязавшееся и отнести все сразу, или же оставить развязавшийся сноп, отнести, что оставалось, и потом вернуться. Он делал движения, показывавшие, что он думает предпринять то одно, то другое.

— Иезус, Иезус! — вздыхал он, окончательно запутавшись.

— Тьфу! — плевал он вдруг с отвращением, сложив губы по-лягушечьи.

Привычка неожиданно и обильно плеваться также была его особенностью. Ему случалось помянуть имя божие и прийти в мирное настроение, и вдруг начать плеваться самым исступленным образом, как-раз тогда, когда слушатель этого не ожидал.

Он курил дважды в день, сейчас же после обеда и ужина, — и весь двор знал об этом. Костя однажды предложил ему своего табаку. Шульц, удивившись, набил трубку, закурил, замолчал, а затем поднял на Костю растроганные глаза, зашевелил скулами и совершенно раздельно произнес несколько слов благодарности и дружелюбия. Оказалось, что он отлично умел говорить, но в обстановке двора Вейнерта, среди постоянных насмешек, почти отвык от этого.

Сам Альфонс Вейнерт был невысокий мужчина с воловьей шеей и пухлыми пальцами, которые он пускал в ход лишь для того, чтобы набивать и выколачивать трубку и открывать и закрывать амбары. Тяжелая работа была ему будто бы запрещена врачами, но он говорил, что, если бы был в состоянии, он показал бы рабочим, как надо работать. Сейчас он только ходил и смотрел и даже проверку мышеловок в амбарах и на полях он передал другим, Паулю и кавказцу Гургену.

Он редко выходил за пределы своих владений, так как не имел в этом надобности: все, что ему требовалось, было у него под рукой. Он с гордостью говорил, что не намерен уступать никому ни крохи.

Он крепко держался этого правила, и бедняки, являвшиеся к нему с реквизиционными ордерами на ничтожные доли картофеля для посева, получали его лишь после длительного и крикливого предисловия. Альфонс говорил, а они молчали и, только выйдя за ворота, позволяли себе сказать что-нибудь по адресу богача, который не понимает, что люди кругом мрут с голода.

Кругом разливалась бедность. Нищие, которых прежде не было в этих местах, все чаще стали заглядывать на кухню с жалким видом и молитвой бедных на устах. Объявление, что хозяин дома — член союза по борьбе с нищенством, прибитое на воротах, не помогало. Людей, пренебрегших объявлением на воротах, встречала еще приколотая к двери квитанция об уплате взноса за текущий месяц, но и она мало кого останавливала. Выцветая от солнца, она превращалась в ненужный лоскут.

Альфонс любил свои поля. Ничего другого он не хотел знать. От работников он также требовал только работы, и в остальном они не интересовали его. Их нерадивость он считал неизбежным злом и вносил в свои расчеты как необходимую поправку. Он давал им пищу и пфенниги, не мешал им изредка менять солому на нарах, требуя лишь, чтобы обовшивевшая солома была сдана назад в хозяйство; раз в год они получали от него рождественский подарок, — и он считал свои расчеты с ними поконченными.

Бессловесные твари внушали ему больше сочувствия, и если случалось, что ветер подымался в то время, как на его полях рассевалась известка и едкая пыль набивалась лошадям в глаза, он подходил и, мучась, вытирал им углы глаз первым, что попадалось ему под руку, хотя бы это был совершенно чистый носовой платок, но не обращал никакого внимания на пленных, у которых лица также были вздуты от извести и которым также нечем было вытереться.

5

Гуго работал и гнул свою линию. Первое время люди избегали смотреть на его безносое лицо, и их взгляды мимо его глаз, их невольное движение задержать дыхание при разговоре с ним он принимал со светлым смирением. Затем его отношения с людьми стали увереннее, к нему привыкли, и он первый доверчиво улыбался другим. Он как бы говорил: „Я смирился, я не обижусь, если вы оттолкнете меня, но ведь и я тоже, как все люди, имею право жить и дышать".

Он умел работать и работал по специальным заданиям Альфонса. Родные поля, которых он так давно не видал, умиляли его, и нередко он оглядывался кругом просветленно и с удовлетворением, как человек, попавший наконец на свое место.

— Пусть говорят, что угодно, про чужие края, — сказал он однажды Косте, с которым нередко вступал в разговоры мимоходом. — Для меня на свете нет края лучше, чем Козельберг...

Костя, на которого Козельберг наводил тоску, не мог разделить его восторгов и вежливо промолчал. Но Гуго сделал жест, что понимает его.

— У каждого человека есть свой Козельберг, — пояснил он свою мысль. — Есть и у тебя, Костя. Когда-нибудь ты это поймешь...

Вид человека, отделенного от своего Козельберга тысячами верст, внушал ему сострадание.

— Я понимаю тебя, Костя, — сказал он, дружески взяв его за локоть: — один, вдали от своих, во вражеской стране... Я понимаю тебя...

Костина неумелость пробуждала в нем желание поучать его. Он делал это осторожно, не очень выставляя свое превосходство и выбирая примеры, на которых, быть может, учили его самого.

— Как ты думаешь, Костя, — спросил он его однажды, глядя с холма на козельбергские поля, — какой ширины вот этот черный кусок?

Он показал на длинную полосу между картошкой и ячменем и хитро посмотрел на Костю.

— Десять или двенадцать метров, — ответил Костя, смерив кусок на-глаз.

И хотя на самом деле это было так, Гуго покачал головой и тихонько улыбнулся, ибо дело было не в метрах.

— Ты городской человек, Костя, — сказал он снисходительно. — Ты думаешь: достаточно перейти через поле, и вот ты на другой стороне. Ты думаешь — вот его ширина. И так думают все, кто никогда не пахал. Но пахарь знает, что поле состоит из борозд, и надо пройти все борозды вдоль одну за другой, и только тогда ты придешь на другую сторону. Вот какая его ширина...

— Так-то, Костя, — сказал он потом, сам умиленный своей мудростью, и бодро взялся за плуг, чтобы измерить этим способом ширину будущего ржаного поля.

Бодрость и уверенность заметно преобладали в его настроениях, и ясная улыбка все чаще появлялась на его лице.

Ему редко случалось работать вблизи Каролины, еще реже приходилось с ней говорить. И тем не менее все знали, что его дело начато и с каждым днем подвигается вперед. За него работала Берта. Она мимоходом забегала к нему в конюшню и охотно выслушивала его честные доводы, а потом шла к сестре, заводила разговор, намекала отдаленно, подходила ближе, ставила вопросы ребром, и, выслушав отказ, смеялась полузадушенным смехом, говоря, что конечно Каролина еще подумает, прежде чем ответить окончательно. И, обхаживая сестру, она больше чем когда-нибудь была похожа на толстую серую крысу, разгуливающую на задних лапках, вынюхивающую, выжидающую.

Доводы в пользу брака с Гуго появлялись у ней при всяких случаях. Если кому-нибудь случалось быть в церкви и он в разговоре упоминал об этом, она говорила:

— Обрати внимание, Каролина: до войны в нашей церкви пел прекрасный хор из мужских и женских голосов, мужчин и женщин было поровну. А теперь: кроме женщин, поет один учитель, да и тот только подтягивает капеллану. Во всей де-

ревне нет мужчин, милая моя. Бедным девушкам не за кого будет выходить замуж...

По пятницам, выходя после обеда в поле, она рассказывала об утренней суете у хлебной печи:

— Было превесело. Ригерша пекла черный, а белую муку ухлопала на печенье, чтобы послать мужу на фронт, — такие нежности! Я на этот раз попробовала полубелый с тонкой корочкой. Прямо ужас смотреть, сколько ячменя подсевает Марта в хлеб для работников... Если бы ты пекла сама для себя, ты бы сразу заметила разницу...

Если Каролина выходила на работу, перемогая слабость, Берта не упускала случая заметить:

— Тебе только тридцать пять, и ты уже падаешь с ног. Я с ужасом думаю, что останется от тебя к сорока годам, если так пойдет дальше.

Каролина молчала. Ей нечего было возражать сестре, перед которой она была так же бессловесна, как Анне-Мари перед ней самой. И все-таки брак с нелюбимым клейменым человеком казался ей слишком обидным жребием, чтобы подчиниться ему без сопротивления.

Гуго ничего не требовал. Он поверял Берте свои планы и ждал. Казалось, он понимал, что он не вправе чего-либо требовать. И даже, если он замечал, что в дверь Каролины прошел Игнат, он молчал. В таких случаях он уходил к себе в конюшню и там, прячась от людей, плакал. Это были покорные слезы нищеты, у которой другие шутя отнимают последнее.

Берта однажды застала его в конюшне в таком состоянии и затем сейчас же прошла к Каролине для решительного разговора. Нравственное негодование придавало ее доводам особенный вес. Положение и на этот раз осталось невыясненным, но, хотя еще ничего не было решено между Гуго и Каролиной, дверь Каролины отныне была заперта для Игната. Берта настояла на этом: раз Каролина еще не ответила Гуго окончательно, раз она еще думает, она не должна испытывать его терпение.

И кроткий взгляд Гуго после этого случая стал еще светлее, в то время как Игнат задумался и насторожился.

Сущность дела была ему понятна, но подробности, ежедневно усложнявшиеся, ускользали от него. Чтобы их понять, было мало одних жестов, требовались слова.

Одно он понимал ясно: его здесь не только ставили на одну доску с осколком человека, каким был Гуго, но этот осколок все заметнее перевешивал его. Осколок чувствовал себя привольно на козельбергской земле, он ходил по тропам, протоптанным с детства, в то время как его водили по этим тропам под конвоем. Он был здесь случайным человеком, пленным с номером и жестянкой, и, что бы он ни делал, в этих местах он всегда стоил бы дешевле любого безносого немца.

Обидно было, что в деле, касающемся его, его не спрашивали. Приходила Берта, улыбалась Каролине с выжидающим видом и шла дальше. Каролина подымала голову, глядя вслед шагавшему за плугом Гуго, и тяжелая задумчивость надолго искривляла ее лицо. Анне-Мари робко сидела рядом, не решаясь прервать молчание. Что-то совершалось на его глазах, история подвигалась вперед, а он ничего не знал.

Иногда в разговорах работников он слышал имя Каролины и слова, которых он не понимал, а все, чего он не понимал, он истолковывал в обидном для себя смысле. Шульц и Корль, казалось ему, знали обо всем больше, чем он. Даже Костя, болтавший с немцами, казалось, что-то скрывал и издевался, и неожиданно во время работы Игната прорывало, и он начинал по разным поводам одергивать Костю, глядя на него со злобой, а Костино молчание и осторожность только делали его вдвойне подозрительным.

Был даже случай, когда Игнат пустил в ход руки, за шиворот вытащив Костю из-под стенки ржи, с межи, куда тот пошел по нужде. Костя был не первый, кто ходил туда, и было странно, что Игнат, прежде не обращавший на это внимания, вдруг так рассердился.

— Я отучу тебя гадить по межам, — кричал он. — Нашел темное место. Ты думаешь, рожь тут вечно стоять будет?

Когда я буду косить, а ты за мной с горстями побежишь, — ты же в кучу носом уткнешься... Ты у меня ее руками уберешь...

Злоба Игната шла кривым путем, — ближайший товарищ не мог бы его понять. Она не затронула ни Гуго ни Берты, но от нее несколько дней терпел Костя, от нее же пострадал юный Пауль, который как будто чересчур много знал, — из столкновения с Паулем Игнат сам вышел потрепанным и с забрызганным грязью лицом, — а затем она обрушилась на самого Альфонса Вейнерта. Альфонс не имел отношения к делу, но он был хозяин и немец, высшая точка здешних мест, и гнев Игната не мог миновать его.

Дни перед сенокосом были для пленных днями годовщины: их пригнали к Альфонсу перед сенокосом два года назад, — и Альфонс не забывал отмечать эти дни маленькими подарками. В прошлом году каждый из пленных получил по пачке сигарет, в этом году было дано по две пачки. А после подарков произносилась речь о переходе на долгий летний день и о прибавке платы: двадцать пять пфеннигов не годились для четырнадцатичасового дня и сразу превращались в пятьдесят, в шестьдесят пфеннигов. Бумаги и никеля у Альфонса хватало, а пленные, у которых деньги уходили на табак и очко, видели в прибавке порядок и справедливость и уже два раза — вскоре по приезде и в прошлом году — выслушивали Альфонсову речь с одобрением.

Эта речь была как бы добавочным молебном к его обычным непонятным богослужениям, ибо Альфонс, как всегда, говорил без переводчика, отрывистым криком, и главным пунктом речи была цифра, выведенная пальцем на стене. Дойдя до цифры, Альфонс дружески улыбался, делал разрешительный жест и удалялся в уверенности, что вопрос улажен к общему удовольствию.

В этом году он произносил свою речь в третий раз, и, однако, несмотря на то, что на этот раз он назначил не шестьдесят, а восемьдесят пфеннигов, он заметил, что его речь производит на пленных неодинаковое впечатление. Никита и Матвей, стоя по-солдатски, мирно внимали ему, но Игнат

глядел хмуро и недружелюбно. Костя, которого прибавка не касалась, был безучастен, Гурген, как не косивший, также смотрел на дело со стороны: он выполнял разные особые поручения и не любил смешивать себя с остальными пленными.

— Ахциг пфенниг! [1] — подчеркнул Альфонс и, показав на стене цифру, ждал в ответ обычного одобрения и был удивлен, когда Игнат хрипло крикнул:

— Не желаю!..

Альфонс не знал русского языка, но не привык, чтобы пленные возражали ему такими интонациями. Он покраснел, но не потерял благосклонного вида. Он дал себе труд подумать: чем мог быть недоволен Игнат, — и решил, что его не удовлетворяет плата. В этом пункте он не упирался.

— За хорошую работу в сенокос, — сказал он, легко выходя из положения, — мне не жаль и марки в день.

Он начертил на стене „100" и улыбнулся, считая вопрос исчерпанным.

Он посмотрел на Игната дружелюбно, но Игнат еще злее и с явным вызовом ответил:

— Не желаю!..

Альфонс смутился. Дело выходило из обычных рамок, и в первый раз за два гогда ему понадобился переводчик, чтобы понять, чего хочет пленный. Казалось даже, что собственные товарищи Игната его не понимают и оглядываются на него с недоумением. Альфонс подозвал работницу-польку. Марта, следившая издали за происходящим, подошла ближе и стала рядом с мужем с негодующим лицом.

— Я не могу дать больше марки, — сказал Альфонс срывающимся голосом, — я связан соглашением всех хозяев деревни, у которых работают пленные...

Полька перевела его слова, и пленные ее поняли, и все-таки Игнат еще раз с надсадой прокричал:

— Не желаю...

— Он не желает, — повторила по-немецки полька, сама удивленная.

---

[1] Восемьдесят пфеннигов.

— Чего же, в таком случае он желает? — спросил Альфонс, багровея и хватаясь за сердце.

Он подождал, но и с помощью переводчика ему не удалось добиться ответа на этот вопрос, ибо и сам Игнат не знал, чего он хочет, и продолжал твердить одно:

— Не желаю...

Но тон у него стал скучным и жалобным.

Дело принимало затяжной оборот. Никита и Матвей неодобрительно молчали, Костя не шевелился, Гурген морщился, словно совестясь мужичьей невежливости своего товарища, и, так как из амбара неожиданно выскочила мышь, он по привычке наклонился, поймал ее, ударил о стену и оглянулся на Альфонса, ожидая одобрения.

Игнат был одинок и никем не понят.

— Я знаю, чего он желает, — негодующим тоном вступилась Марта. — Он желает, чтобы мы позвали конвойного... Он этого добьется...

Корль, посланный ею, заковылял в дом, где как-раз сидел конвойный, который обедал и ужинал по-очереди во всех дворах, в которых работали пленные, и в этот день был нахлебником Альфонса. Он не замедлил прийти и, выслушав Марту, тотчас же сам загорелся негодованием. Он поднял приклад, чтобы на месте проучить Игната, но Марта, жалея Альфонса, попросила его не делать этого на его глазах. Затем Игнат, подталкиваемый сзади и зло оглядываясь, исчез со двора, чтобы в карцере обдумать, чего он, собственно, желает от Альфонса, а Альфонс, красный, теребя пухлыми пальцами воротник, который вдруг стал ему узок, ушел в дом. Марта шла рядом, готовая поддержать его, если с ним что-нибудь случится, но ее помощь оказалась ненужной. Дело его было не так плохо: он твердо держался на ногах, хотя после неудачной речи он испытывал потребность немного полежать.

6

Начался сенокос, и случай с Игнатом скоро был забыт. Игнат работал как обыкновенно. Нового в нем был лишь

взгляд исподлобья, которым он встречал Альфонса, и новый жест: невзирая на присутствие Альфонса, он вынимал часы и смотрел время. Этот жест, от которого Альфонс менялся в лице, держался у него несколько дней, а затем исчез так же, как и взгляд исподлобья. Игнат снова смотрел Альфонсу просто в глаза, но отмалчивался и мрачнел, встречаясь с Мартой. Потом исчезло и это.

Некогда было вдаваться в тонкости. Подходила жатва, и первая же добавочная творожная шаньга, вынесенная в полдник для косцов, польстила его косцовской гордости, и, забыв о всяких счетах, пошел он вровень с Никитой и Матвеем обивать Альфонсовы поля, работал до дрожи в подмышках, перемогался и не подавал вида, и, казалось, уставал меньше, чем Костя, все дело которого было бегать за косцом и тупым серпом сгребать скошенное со стенки, откладывая горсти для снопов. С чистым сердцем работал Игнат, и даже когда Альфонс не совсем уверенным голосом позвал косцов прийти и в воскресенье, легко согласился, хотя по инструкции мог бы на этот раз с полным правом сказать: „Не желаю".

— Игнат отбесился,—заключила о нем Марта и при встрече улыбалась ему добродушно: взгляд у нее на людей был как на скотов, которых нечего корить тем, что они тоже иногда начинают брыкаться и мычать, — стоит их постегать веревкой, и с ними снова можно ладить...

К Косте, который на косьбе потел и представлял жалкое зрелище, Игнат относился сочувственно, давал отдохнуть, где мог, и только покосился, когда дело поочереди дошло до межи на ржаном поле с обнажившейся на ней кучкой старого человечьего помета.

Свезли рожь, принялись за пшеницу. Три косца переходили с участка на участок. Костя бегал за Игнатом, Гурген возил снопы. На Гургена косцы поглядывали косо: он был силен и мог бы нести тяготу наравне с ними; они считали, что работали за него, между тем как с них уже было достаточно и Костиной доли, которую тоже как бы несли они. Но если Косте его слабость прощалась, а сам он был почтителен и признавал косцовское превосходство, то

с Гургеном, посматривавшим на них свысока, бывали ссоры. Намеки на дармоедство обижали Гургена, он говорил, что, если бы Альфонс назначил его косить, он стал бы косить, он даже просил об этом Альфонса, который ответил, что не находит это нужным. И хотя дело, таким образом, не зависело от Гургена, обвинения в захребетничестве оставались и портили ему кровь. Он платил косцам взглядами свысока и тайным недружелюбием.

— Альфонс рад, что нашел дураков... — сказал он однажды Косте, кивая ва косцов. — У него в сарае есть жнейка. Он ее бережет. Зачем ее портить, зачем гонять лошадей, когда есть три болвана, которые будут потеть с утра до ночи? Пусть стараются: и машина цела, и соломы больше...

То же самое, но в совершенно другом тоне, он повторил в лицо косцам, он как бы изобличал перед ними Альфонсову скупость, но даже голого упоминания о совершенно исправной жнейке, которая стоит в сарае в то время, когда три косца выбиваются из сил, было достаточно, чтобы началась ссора, во время которой Никита даже поднял над головой Гургена косу.

— Чтобы попугать, — минуту спустя сказал он Косте, встревоженному таким оборотом дела. — От него вредный дух.

Между тем Гурген с тех пор стал серьезно опасаться за свою жизнь.

Игнат отбесился, вошел в норму, всё с ним, казалось, обстояло благополучно, и все-таки в праздники, сидя в казарме под замком, он не скрывал тоски и, не садясь за очко, валялся на нарах, глядя мимо людей, как больной. Или развязывал сумку, разворачивал старую посылку из России — пермские сухари с черемухой, — перекладывал их, отделял целое от крошева, крошево съедал, остальное завязывал. Над сумкой подолгу задумывался, грустил. Утешало его, в конце концов, то же очко и в самом вечеру надрывное фальцетное пение:

Ехали солдаты
Со службы домой...
На плечах погоны,
На грудях кресты...

Игнат думал о доме. Не представлял себе иного возвращения домой, как в погонах и крестах. Не допускал, чтобы с погонами и крестами когда-либо что-либо случилось. И хотя в команду дважды в неделю приходила из Берлина газета для пленных на русском языке, где в это время как-раз сообщалось, что низложенного царя перевезли в Тобольск и что Керенский, подготавливающий наступление, издал приказ об аресте Ленина, — читали эту газету из команды один-двое, да и те считали, что это пишется немцами нарочно. Летом было не до газет, нехватало времени и на очко, и газетой с ничего не говорящими фамилиями застилался стол, за которым шла игра.

На пшенице с Игнатом пошло хуже: он заболел, испортил нутро, не мог есть. По утрам, выезжая за клевером, он бросал косу, валился лицом в землю, отлеживался. Никита и Матвей набивали фуру без него. На пшенице становился в ряд, входил понемногу в работу, в перерывах снова валясь лицом вниз. Однако конвойному о болезни не заявлял: совестно было бросать товарищей, и кроме того болезни без температуры в тридцать восемь градусов все равно не признавались.

И точно так же, как Игнат, в перерывах валялась на земле работница-полька, вязавшая снопы. Она пила отраву для выкидыша, ничего не добилась, болела и очень мучилась. Ее страдания были сильны, но еще сильнее была магнетическая сила Альфонсовых глаз, поддерживавшая ее на работе на ногах.

Ее будущий ребенок кое-кого заинтересовал. Знающие люди считали его отцом Гургена, но, так как и Корль тоже поглядывал на польку со вниманием, было удобно свалить все дело на него. Люди при встречах подмигивали Корлю, поздравляли его, льстиво удивлялись:

— Корль — папа!..

К общему удивлению, Корль принимал поздравления почти всерьез. Повидимому, он значил в этом деле больше, чем предполагалось. В другое время в этой истории разобрались бы как следует и, может быть, посмеялись бы, но теперь некогда было заниматься этим.

Почти без внимания оставлен был также и один необычный разговор между Гуго и Корлем в конюшне, где Корль после работы сидел без рубашки, отдыхая от вшей. В конюшне только-что побывала Берта, и после разговора с ней Гуго был в повышенном и самом светлом настроении. Он говорил Корлю о радостях семейной жизни и, восхваляя их, не избег хвастливости, точно самому ему эти радости уже были знакомы. Он давал понять, что сам он как бы уже стоит на другом берегу, и покровительственно спрашивал Корля: почему бы и ему не вступить на этот путь?

Корль слушал его, склонив голову.

— У меня нет денег! — вскричал он вдруг жалобно, точно его тащили куда-то на аркане и он боялся не устоять. — У меня нет денег...

Во дворе Вейнерта появился новый персонаж — стройная, некрасивая девушка, в городском платье и с бегающими глазами — племянница коровника Винтера, приехавшая из Берлина. Ее костюм и ее бездеятельность во дворе, где все крутились в работе, бросались в глаза. Предполагалось, что она приехала из Берлина подкормиться, но многие также интересовались: чем она занималась в Берлине? Когда об этом спрашивали Винтера, он не отвечал на вопрос прямо и усмехался, если собеседник сам начинал называть какие-либо профессии.

— Я слышал, — спрашивал его кто-нибудь, — она была продавщицей в табачной лавочке?

— Ну, что вы! — весело улыбался Винтер. — Она только хотела поступить в табачную лавочку...

— Значит, в кондитерской? — поправлялся собеседник, смущенный хитрым выражением его глаз. — Мне что-то говорили, но я спутал...

— Какая там кондитерская! — отмахивался Винтер еще веселее.

Он глазами подсказывал какое-то решение, но собеседник, имея в виду, что говорит с родным дядей о профессии его племянницы, делал вид, что не понимает его, и в замешательстве продолжал называть профессии одну за другой, в надежде, что Винтер остановится на какой-нибудь.

Но Винтер не думал кивать головой, и, когда находил, что достаточно заинтересовал неосторожного вопрошателя, весело объявлял:

— Не угадали. Прямо удивительно, что вы не могли догадаться. Она — самая обыкновенная берлинская...

Он называл уличную профессию и с барабанной простотой хохотал собеседнику в лицо.

— Мы выписали ее, чтобы она помогла Берте во время свадьбы: некому печь штрицели...

— Значит, свадьба — решенное дело? — спрашивал собеседник, радуясь, что вылез из неловкого положения. — Каролину можно поздравить?

— А с чем поздравлять? — снова ошарашивал его Винтер.— Гуго — славный парень, но у него в одном месте нехватает пустяка...

Он показывал себе на нос и весело смеялся.

Между тем, в церкви уже было первое оглашение. Капеллан спрашивал: не имеется ли у кого возражений против брака Гуго Шуберта с вдовой Каролиной Кристен? — ни у кого никаких... конечно, кроме как у самой Каролины...

Гуго был торжествен и молчалив. Он работал теперь на ячмене. Альфонс извлек, наконец, жнейку из сарая и посадил на нее не кого-нибудь, а именно Гуго. Это был знак доверия, возвышавший его над теми, кто только вязал снопы или накладывал их на возы, — а этим делом теперь занимались пленные, — и в его взгляде, когда он проезжал мимо них, вместо обычной кротости, они замечали независимость и благосклонную важность.

Этот оттенок не шел к облику Гуго, делал его незнакомым, и снова, как в первые дни, стал бросаться в глаза недостаток его лица, к которому уже успели привыкнуть. И, посмотрев ему однажды вслед, Игнат вдруг затосковал и сказал дрогнувшим голосом:

— Он душной...

Так за обедом он говорил, если в супе попадалось гнилое мясо, которого он не переносил, оставляя на тарелке даже то, что его соседи, подумав, съедали. С тошнотной гри-

масой он проводил взглядом Гуго и задумался, бледный, что-то перед собой видя, подавленный жалостью.

У Кости было одно лагерное воспоминание, которое ожило в этот момент: так выразительно было лицо Игната. Он вспомнил бараки и проволоку, и окна госпиталя, к которым в сумерки пробирались за остатками голодные пленные из штрафного барака. Они стучат в окна и вынимают из-под курток мисочки. Окон много и некоторые из них открываются, выставляются руки с баками, и содержимое их выливается в подставленные миски. Под окном венерической палаты также стоит человек с миской и, не отрываясь, следит за струйкой супа, льющейся сверху. Главное, что его интересует: густо или жидко, много или мало? Когда перестает капать, он впервые взглядывает наверх, на того, от кого получает дары: за стеклом, закрывая окно, безносый человек улыбается ему степенно, с сознанием совершенного доброго дела. У человека внизу миска в руках вздрагивает, он отворачивает лицо от окна в ужасе, делает движение вылить суп на землю. Потом он взглядывает вверх еще раз, поникает головой, приставляет миску к губам. Слезы стекают у него по щекам, пока он пьет из нее.

Много чужого народа перебывало во время жатвы на Альфонсовых полях. Когда последний сноп на участке укладывался на воз и пленные еще раз граблями обходили поле, — начиналось шествие собирателей колосьев. Горожане в крахмальном белье и женщины в шляпах, старухи и дети, — все, кому позволяло время, были рады добыть себе этим путем лишний кусок хлеба. Им предоставлялось то немногое, что оставалось после граблей работников, и если кто-нибудь, по неопытности, являлся с мешком, в надежде на большую добычу, над ним смеялись и заставляли бросить мешок на меже. Они шли шеренгой на несколько шагов друг от друга и поднятые колосья складывали в букетики, отлично умещавшиеся в левой руке. Толщина букетика зависела от остроты зрения, от уменья быстро нагибаться, но еще больше от работников, которые могли оставить больше и могли огрести поле начисто...

Альфонс не любил, когда приходили люди из города. Когда косили луг вблизи дороги, редкий из пешеходов проходил мимо, не попросив у него клочка сена для своего кролика. Альфонс не отказывал, но обилие просьб и необходимость выслушивать благодарности утомляли его. Люди из города были вежливы и за каждый клок сена благодарили по крайней мере трижды, причем благодарности выкладывались не сразу, а с промежутками, заполнявшимися еще каким-либо незначащим разговором.

Кроме того у Марты, происходившей из города, осталось там немало родни, которую Альфонс тяготился поддерживать, и теперь они являлись на поле и становились в шеренгу среди чужих людей, чтобы хоть этим путем получить то, на что они рассчитывали. Собственный дядя Марты, отставной аптекарь, грузный старик в сюртуке, сопя, шел среди других и, по неуменью сгибаться, добывал лишь самые скудные букетики. Альфонс видел во всем этом скрытый протест и бежал от родни в дом.

Полуслепая босая женщина шла в одиночестве по полю. Она отставала от других, и ей приходилось бегать после всех по уже обшаренным местам. В одном углу она наткнулась на пленных, которые как-раз подгребли туда заметную груду колосьев. Игнат кивнул ей на колосья и сделал поощрительный жест:

— Бери...

Женщина остановилась перед колосьями, как перед большим искушением. Она оглянулась на других людей, которые ушли далеко, посмотрела в направлении Альфонсова дома.

— Если Альфонс увидит, — сказала она, разгоревшись, но томимая нерешительностью, — мне нельзя будет прийти сюда в следующий раз...

Она почти решилась протянуть к колосьям руку, но чьи-то шаги, послышавшиеся с верхней дороги, спугнули ее. Шаги были легкие и торопливые и не могли принадлежать Альфонсу, но женщина сейчас же отошла от искушения и больше не подходила.

Пешеход был Фриц, сын Каролины. Он шел из города и

нес в руках крошечный аптечный пакетик. Его хронометр был с ним, и первым делом он объявил пленным точное время, а потом показал, что у него в пакетике.

— Шафран для желтых штрицелей...

Он не забыл рассказать, что, кроме желтых штрицелей, будут еще штрицеля с яблоками, для чего они с Паулем уполномочены сделать геройскую вылазку в Альфонсов сад сегодня вечером, и убежал, сказав, что его ждут дома...

7

Пакетик шафрана свидетельствовал, что история Каролины и Гуго подходит к концу. Игнат посмотрел на него с любопытством не бо́льшим, чем у остальных, и ничего не сказал. Казалось, он равнодушно принял пакетик к сведению. Костя так и понял его и был удивлен, когда в тот же вечер Игнат завел с ним необычный разговор.

Вечером, по пути с поля, Костя остановился закуривать, а Игнат, проходя мимо, шепнул ему несколько слов и глазами дал понять, что он может сейчас не отвечать. Ближайшие люди были за ними на много шагов, никто не мешал бы Игнату остановиться и как следует поговорить с Костей, и если все-таки он выбрал для разговора тюремную манеру — шопот на ходу, неподвижное лицо и острый взгляд, — так только потому, что о некоторых вещах полагалось говорить именно этим способом.

Иначе беседа их была бы подозрительной. О чем, с точки зрения Альфонса, могли совещаться друг с другом двое пленных, тайно от товарищей и с взволнованными лицами? — О совместном побеге, ни о чем больше.

И Альфонс и Марта, не говоря уже о конвойном, всегда подозревали у пленных желание бежать; другие, как Винтер или Пауль, легко допускали у них эту склонность, да и остальные во дворе, не исключая Шульца и Анне-Мари, имели о ней понятие.

Летом был случай, когда вблизи Козельберега патруль поймал неведомого русского пленного. Его провели через

деревню, чтобы до распоряжения запереть в карцер при команде, и многие его видели и интересовались им.

Правда, Косте долго пришлось объяснять Каролине, что это был за человек, чего он хотел и каким образом случилось, что, работая где-то в Оппау, за сто верст от Козельберга, он однажды в арестантском платье и с куском хлеба в кармане нырнул в кусты и через три недели в полумертвом состоянии вынырнул в трубе под козельбергским мостом. Пришлось несколько раз повторить ей всю историю сначала, прежде чем она что-нибудь поняла: путешествия, столь легкомысленные и несчастные, были выше ее разуменья.

Тем не менее, после случая с беглым все во дворе Вейнерта знали уже, что пленные имеют свойство убегать, а дворовые мальчишки, присутствовавшие на облаве, были не прочь отличиться при их поимке.

Разговор Игната и Кости был именно о побеге. Игнат без предисловий предлагал себя Косте в товарищи, повидимому, не сомневаясь, что у Кости уже имеется план. Тон у него был почтительный, точно он признавал старшинство Кости в этом деле и отдавал себя в его распоряжение.

Было хорошо, что Косте не требовалось отвечать на это предложение сразу, потому что первым его чувством было удивление, неприятное и ошарашивающее: он скрывал свои мысли от всех, в разговорах с кем бы то ни было старательно обходил тему о побегах, при других не позволял себе смотреть на горы, чтобы чем-нибудь не выдать себя, — и тем не менее его намерения были всем понятны, и к нему обращались с такой уверенностью, точно он расклеивал объявления о том, что собирается бежать и приглашает желающих.

Гораздо сильнее, однако, была в нем радость, явившаяся в следующий момент. У Кости в Козельберге было две жизни: одна видимая, покорная, для Альфонса и товарищей, другая — тайная, проходившая в мыслях о побеге и в вечном разладе с собой. Опыт первого побега был ему памятен, опыт второго, в случае новой поимки, должен был быть во много раз печальнее. Он уже не раз назначал себе сроки для решительных действий, которые затем откладывались, и уже

давно презирал себя за свою нерешительность. Временами ему казалось, что он уже никогда не отважится бежать, и дни таких сомнений были несчастнейшими днями его жизни. Чужая рука ставила его на ноги. Он не входил в подробности, почему именно Игнату захотелось вдруг в Россию; он чувствовал только, что он заряжен достаточно и что вместе с ним попытка во всяком случае будет сделана.

Плен был устроен прочно. Вся Германия для пленного представляла одну большую тюрьму. Часть пленных сидела в лагерях за проволокой, и первый шаг к свободе для них был труднее, чем для пленных, работавших по деревням и выходивших в поле без конвоя; но со второго шага их положение делалось одинаковым, ибо по какой бы дороге они ни пошли, в какую бы яму ни спрятались, первая же пара из сорока восьми миллионов пар глаз, заметившая их, означала для них конец путешествия. Прекрасно поставленная телефонная служба немедленно приходила в движение, район оцеплялся, беглый выползал на свет.

Пленный мог ходить по ночам, но и тогда дороги и мосты были не для него, он шел в стороне, полями, по компасу, переходил реки в брод или на чужих лодках, обходил всякое человечье жилье. Каторжник, бежавший с Сахалина, был по сравнению с ним в более выгодных условиях. Ночные переходы подвигали его вперед на ничтожную величину. Иногда вся его энергия за ночь уходила на то, чтобы выждать момент и незаметно пробежать через железнодорожный путь. Днем он отсиживался во ржи, в ельнике, в трубах под мостами, там, где заставал его рассвет. Он должен был уметь переносить жажду и предрассветный холод и не делать никаких попыток вылезать днем из своего убежища.

В побег он уходил с запасом сухарей, которого хватало на некоторое время, а затем ему оставалось поддерживать себя картошкой, накопанной ночью и испеченной на костре в лесном овраге, пшеницей, оставленной на ночь в ящике сеялки, яблоками с деревьев на шоссе, редко — кражами из кладовых.

Только люди с сильным духом и крепким телом могли

долго выдержать эту мучительную и скучную жизнь. Более податливые, слабея, переставали соблюдать осторожность с той строгостью, какая требовалась, и неизбежно попадались.

Такова была проза побега, которая, однако, — хоть и в очень редких случаях, — приводила побег к удачному концу. Люди, которым медлительная проза была не по нраву, создавали себе более скорые, но гораздо менее надежные планы. Им казалось, что достаточно подучить немецкий язык, одеться, как все немцы, и, избавившись от первого преследования, итти, не скрываясь, стараясь слиться с толпой. В такие планы, как самая привлекательная их часть, входили разные приключения: путешествия на крыше экспрессов, случайные встречи с красивыми женщинами, влюблявшимися в беглецов и дававшими им приют, бумажники с огромными суммами, найденные на дороге, ночлеги в избушках лесников, у которых сыновья как-раз оказывались в русском плену и которые поэтому не только не делали пленным зла, но и проливали вместе с ними слезы...

Люди, обладавшие воображением и уставшие от пресной жизни в плену, охотно создавали себе такие планы, которые на поверку ничего не стоили.

Научиться кое-как говорить по-немецки было не трудно, но это только вело к тому, что человек, преувеличивая свои знания, пускался в разговоры, между тем малейшая ошибка в первой же фразе, какое-нибудь неправильно поставленное на слове ударение — выдавали его.

Достать штатский костюм также было возможно, хотя и не легко, но к этому костюму требовалось уменье его носить и соответствующая ему физиономия. Пленному негде было упражняться в искусстве носить костюмы, ибо обычно он ходил в платье с арестантскими вырезами, штатский костюм, сохраняемый втайне, он впервые надевал где-нибудь в канаве, за минуту перед побегом, и, уже пустившись в путь, наспех оглядывал себя в новом обличьи. И тут оказывалось, что костюм на нем трещит, что из узких брюк выпирают ржавые голенища, что грудь без запонки стоит дыбом, а галстук завязан беспомощно, подстать унылому выражению его потной,

волосатой, мало европейской физиономии. Сотни мелочей, которых невозможно было предусмотреть, вопияли о нем и без задержки приводили его к жандарму.

Что касается путешествий на крыше экспрессов, неизменно оказывалось, что на станциях слишком много электричества и лучше туда не ходить; бумажники с деньгами также нигде не валялись, красивые женщины цепенели, завидев беглого, и делали ему разве ту любезность, что не вмешивались в погоню лично, а наводили на его след мальчишек. Лесники же считали пленных божьим наказанием, ибо от оставляемых ими костров происходили лесные пожары, и относились к ним без пощады.

Пленный мог считать побег оконченным, только когда он переступал голландскую или швейцарскую границу, или же когда он переходил русский фронт с немецкой стороны, — из сотен тысяч беглых это удавалось единицам, остальные попадались снова.

Безразлично, где их ловили: за пять километров от места побега или за сотни километров: внутри Германии, в Австро-Венгрии, в Польше, — или за тысячу километров: в оккупированной Сербии и Румынии, в Албании, Турции, — все это были страны, или занятые немецкими войсками, или находившиеся в союзе с Германией, и как бы далеко они ни отстояли от места побега, беглого после поимки неукоснительно отправляли назад в это самое место. Там велся счет его преступлениям, там ему на опыте доказывали, как бесцельно было его желание выбраться из немецкой мышеловки, а так как побеги отсчитывались на его ребрах, то после второго и третьего возвращения в те же самые лапы беглый начинал задумываться и кончал покорностью.

Был способ защиты — путать фамилии и места приписки, но он годился для немногих, более опытных, и требовал выдержки, ибо каждое показание должно было быть подтверждено телеграфными справками из картотеки того лагеря, на который делалась ссылка.

Рядовой беглый с этим способом попадал в тиски. На первом допросе он придумывал себе какую-нибудь фамилию,

соображая довольно быстро, но все-таки секундой дольше, чем было бы нужно, чтобы вспомнить свою настоящую фамилию. Немец-писарь замечал это и охотно шел ему навстречу. Он сам запутывал дело. Если ему называли фамилию: Овчаров, — он, как бы не расслышав, переспрашивал: „Гончаров?“ Он превращал Пестова в Толстого, Попова в Петрова, — и беглый охотно подтверждал это, думая, что теперь он уже запутал немца окончательно. То же самое с именем и отчеством, номером полка и местом приписки. Он уходил с допроса, довольный результатом, и без страха вступал в голодный беглый барак, полагая, что пробудет в нем недолго.

Между тем протокол с его показаниями, как явно фальшивый, никуда не отсылался. На втором допросе, через две недели, беглому сообщали, что по справке в указанном им лагере пленного с фамилией Гончаров в списках не имеется, и еще раз предлагали назвать себя. Он снова придумывал себе фамилию, которая записывалась с той же готовностью, а беглый возвращался в барак, встревоженный, ибо дело затягивалось. Еще через две недели его вызывали снова. Если у него хватало сил, он продолжал комедию, но обыкновенно к тому времени голод делал его покладистым, и он называл свое настоящее имя. В тот же день телеграфная справка подтверждала все им сказанное, и его отправляли к месту приписки для отбытия наказания.

В шестнадцатом году был слух, что беглых, пойманных в Австрии, не возвращают в Германию и оставляют в австрийских лагерях. Вопрос о том: „выдает“ или „не выдает“ Австрия — интересовал многих, но пленным, работавшим маленькими командами в глухих деревнях, негде было его проверить...

8

Первый побег Кости был совершен по способу фантазеров. Он продолжался шесть с половиной часов, да и те почти целиком ушли на сон и сиденье в лесу, — иначе его продолжительность была бы гораздо короче. Костя впоследствии стыдился этой своей попытки и рассматривал ее как черно-

вую работу для будущего настоящего побега, но в свое время верил и в экспрессы, и в красивых женщин, в лесников, в свой немецкий язык и особенно в фиолетовую, крашенную химическим карандашом блузу, которая должна была превратить его в немца. Он навсегда отказался от этой шаткой программы в тот момент, когда часовой на опушке леса взял его на мушку; отказался, чтобы немедленно же уверовать в другую программу, в которой не было никаких переодеваний и все было рассчитано на выдержку и кротовью медленность.

В то время он работал в другой местности, в обстановке такой же, как у Альфонса, так же потел и смотрел на горы, и однажды, решившись, вылез из канавы, одетый в фиолетовую блузу и фиолетовые штаны поверх казенного пленного платья. Костюмчик был покрашен в спешке, тайком от всех, окраска легла пятнами, и, когда Костя впервые при ярком свете увидел себя в нем, он чуть не полез назад в канаву: костюмчик годился явно для маскарада.

— Если бы вы хотели, чтобы вас поймали как можно скорее, — впоследствии иронизировал над ним на допросе лейтенант, — вы бы не могли придумать костюма более подходящего... Разве если бы вы накинули сверху красный плащ и несли бы в руках по свежему подсолнечнику.

Костя не полез в канаву, потому что первый шаг стоил ему больших волнений и было бы обиднее всего, если бы он не кончился ничем. Кроме того при путешествиях на крышах экспрессов, — главное, к чему он примеривался, — цвет костюма имел мало значения, и, не оглядываясь, с взрывом энергии он двинулся вперед по давно намеченному направлению, к лесу за холмом. Он шел через поля, пустые в обеденный час, взволнованный, высоко поднимая колени и слегка пригибаясь к земле, как солдат под выстрелами.

Он сам замечал странность своей походки, но ничего не мог с нею поделать. Обычная походка, размеренная, вялая, с оглядкой на конвойного, была для плена; он два года шагал только таким образом и теперь был рад вспомнить, что можно ходить иначе: неровно, с бьющимся сердцем, с опасностью за спиной и неизвестностью впереди.

Впервые после двух лет он почувствовал, как бьется его сердце, и обрадовался, ибо всегда думал, что настоящая жизнь — это тогда, когда у человека бьется сердце. Он наслаждался каждым своим шагом, он не узнавал полей: так странно они изменились, потому что изменился он сам. Он был готов к необыкновенному: может быть, через минуту начнутся все те необыкновенные события, о которых он мечтал два года, — сейчас он принял бы их как нечто само собой разумеющееся.

Потом он посмотрел на часы и пришел в себя: он был в пути всего десять минут и, в сущности, еще никуда не ушел.

Он нарочно выбрал для бегства час, когда на полях не бывает людей. Но это не значило, что он стал бы прятаться, если бы кто-нибудь попался ему навстречу: он полагал, что сумеет обойтись с кем угодно, как немец с немцем: „Гутен таг. Ви гет'с? Ганц гут. Данк шен"[1] — такова была его программа и, несмотря на первое тяжелое впечатление от фиолетового костюмчика, он не намерен был отступать от нее.

В конце концов люди здесь вежливы, и штатский человек не станет требовать документов у другого штатского человека. А если кто-нибудь полюбопытствует спросить: „Откуда вы?" — всегда можно ответить с полной готовностью:

— Я — Адольф Лайер из Вейденау, кафе у вокзала, к вашим услугам...

Или:

— Я — Эмиль Штейнер из Лаугница, москательная Бадера. Ринг, 28.

Десятки фамилий и адресов были заготовлены у Кости для этого случая.

В одном месте, пересекая вспаханное поле, он наткнулся на человека, который стоял, засунув руки в карманы, и в глубокой задумчивости разглядывал развороченную землю. Когда Костя поровнялся с ним, он поднял на него глаза. У него был неприятный рыбий взгляд.

---

[1] Здравствуйте. Как дела? Очень хорошо. Спасибо.

— Tag! [1] сказал Костя и мотнул головой, как и полагается немцу приветствовать немца на узком месте.

— Taag! — удивленно ответил человек.

Взгляд его мгновенно оживился. Веселая догадка мелькнула в его тяжелых глазах, и почти сейчас же он повернулся и пошел прочь, в направлении крыш, показавшихся за склоном.

Костя встревожился: какие такие спешные дела вдруг нашлись у него? Ведь он стоял на месте и никуда не торопился. Не пришло ли ему в голову, что человек, прошедший мимо, есть не то лицо, каким хочет казаться, и не побежал ли он за жандармом?

Костя смерил расстояние до леса и успокоился: на ближайшее время человек с неприятным взглядом не мог быть ему опасен. Лес должен был защитить его. Этот лес был единственным укромным местом на открытой равнине; русские беглые пленные и собственные немецкие дезертиры при своих продвижениях к австрийской границе неизбежно попадали туда и жили там от облавы до облавы, и, конечно, донесение еще об одном подозрительном человеке, скрывшемся в лесу, не удивило бы жандарма и не заставило бы его лететь на поимку немедленно.

В лесу Костя отошел подальше от опушки и спрятался в ельнике. При его приближении какой-то другой беглый, ломая сучья, бросился от него в гущу: лес был достаточно населен, хотя его жители не могли видеть друг друга из-за густоты ельника. Костя не стал окликать товарища, и, так как до наступления темноты никаких подвигов от него не требовалось, в программе дня наступил пробел, который хорошо было заполнить отдыхом и сном, что Костя и сделал.

Он провел восхитительный день, спал и просыпался под пенье птиц, ходил между деревьями вправо и влево, наслаждаясь уже тем, что сам выбирает себе направление. Он чувствовал себя в лесу как горожанин, которого смущает, что он вошел куда-то, не постучавшись и не спросив, можно ли войти. Но птицы, хозяева леса, повидимому, ничего не имели

---

[1] Добрый день.

против него, они пели и перелетали с места на место, точно его и не было рядом, и понемногу он освоился. Ему совестно было рвать цветы, чтобы понюхать их, он ложился на землю, и однажды, принюхиваясь, сделал открытие: земля тоже пахла, она благоухала гнилью рождения, свежестью новой силы,— почему он раньше не замечал этого: ведь он ежедневно топтался по земле, оскорбляя ее своей работой?

Он устал в конце концов от всего прекрасного, что он испытал в этот день, лег снова и уснул и, проснувшись, со вкусом съел ломоть хлеба, запрятанный во внутренний карман военнопленных штанов. Он съел без остатка, потому что ломоть был невелик, и кроме того не было смысла сберегать крохи,—стоило только дождаться темноты и выйти на дорогу, и должны были начаться по порядку все те приключения, которых он ждал и в которых пища подразумевалась сама собой.

В сумерках, свежий и мечтательный, он вышел на опушку. Сучья трещали у него под ногами. Он морщился и ступал, едва прикасаясь к земле, но, так как они продолжали трещать, он бросил осторожность: в конце концов, он — немец в штатском костюме и имеет право ходить по лесу, не заботясь о том, трещат у него под ногой сучья или нет.

Он даже позволил себе остановиться на опушке и полюбоваться красками горизонта. Он нашел их великолепными. Он подумал, что еще вчера такой же закат не произвел бы на него впечатления,— мир изменился, потому что изменился он сам.

— Да, да...— сказал он вслух,— это оттого, что я не в плену...

И неожиданно какая-то тень прошла по багровому фону, закат продолжал гореть, но уже словно в отдалении, потом он снова придвинулся и снова отдалился, он задвигался в Костиных глазах, потому что его ухо в это самое время уловило рядом чьи-то шаги. Он оглянулся, и закат сразу исчез из его головы.

Отделившись от большого дерева, к нему приближался серый человек, с винтовкой на ремне, в черной каске, и зна-

ками звал его подойти. Он подождал и взял винтовку на прицел, но, когда Костя подошел к нему ближе, опустил винтовку.

— Я—Эмиль Лаугниц из Хачкау...—сказал Костя твердо.— Я иду домой...

— Из Хачкау? — повторил солдат, удивленно разглядывая Костино одеяние.—Из Хачкау?—повторил он еще раз с усмешкой. — Милый друг, Хачкау — это только пишется на картах, но люди, которые живут в Хачкау, говорят, что они из Гочка. В Гочка люди говорят по-своему, милый друг...

— Это одно и то же... — возразил Костя с остатками нахальства, но, взглянув туда, куда смотрел солдат: на желтый военнопленный лампас, выбившийся из-под фиолетовой штанины, — смутился и замолчал.

— Удрал? — спросил солдат кратко.

— Удрал... — ответил Костя, поняв, что путешествие кончено.

Солдат не был рассержен. Казалось, ему надоело ловить пленных. Он отступил на шаг и поднял над Костиной головой приклад, но не ударил; замахнулся на него штыком, но не уколол. Он толкнул его кулаком в спину и велел итти впереди себя.

— Благодари бога, — сказал он по дороге, — что ты попался мне. Я добрый человек. Если бы тебя поймал Кнаус, он бы убил тебя...

— За что бы он убил меня? — спросил Костя, не совсем веря. — Он имел бы право, если бы я сопротивлялся...

— Я не знаю, за что бы он убил тебя, — ответил солдат раздумчиво, — но это было бы так...

— Твоя душа, — продолжал он потом, — конечно, пошла бы на небо. Но сам бы ты валялся и гнил как собака...

Костя молча шел впереди.

— Нам нужен человек, который бы вымыл нам пол в сторожке. Пока я извещу твоего конвойного и он приелет за тобой, ты отлично успеешь сделать это...

Костя не возражал.

— Кто твой конвойный?

— Бивальд из Либенау... — ответил Костя, впервые поняв, что означает для него встреча при подобных обстоятельствах с Бивальдом из Либенау.

— Бивальд из Либенау? — переспросил солдат не без сочувствия. — Не завидую тебе. Я знаю этого Бивальда и знаю, какой у него кулак. Я совершенно не завидую тебе...

Костя, холодея, вошел в сторожку.

9

Для воскресных дней у Корля имелся чистый пиджак и крахмальная рубашка. Надев их, он возвышался в собственном мнении и, проходя мимо пленных, поглядывал на них снисходительно. Но пленные, видя Корля в воскресном наряде, думали не о его великолепии, а о том, что под крахмальной рубашкой его едят те же вши, что и в будни.

Наступил день, когда Корлю оказалось мало его пиджака, ему понадобилось быть еще великолепнее, чем в обычные праздники, и он забегал по деревне, разыскивая цилиндр. Он легко нашел его, ибо в деревне цилиндры были не редкость, но оказалось, что к цилиндру требуется изменить и костюм. Пиджак не подходил к цилиндру, а требовался сюртук или черный ульстер поверх пиджака. Кроме того, цилиндры и ульстеры были обязательны лишь на похоронах для приглашенных нести гроб, они надлежали событиям скорее печальным, а на свадьбах можно было обойтись и без них. Таким образом Корль присутствовал на свадьбе без цилиндра.

Это была странная свадьба, ибо невеста, одеваясь к выходу в церковь, еще не знала окончательно, пойдет ли она туда, а жених сидел на своем сундуке в комнате при конюшне, одетый, опустив голову. Между тем мебель из комнаты Каролины, под руководством Берты, перетаскивалась в новую квартиру Гуго; Фриц и мальчишки с увлечением носили через двор стулья и цветы, берлинская приезжая орудовала на кухне.

Молодые пошли в церковь пешком. Альфонс не отказал

бы дать им для этого случая коляску, но им не хотелось привлекать внимание. Потом в мезонине, в новой квартире Гуго, происходило пиршество. Пленные в это время сидели в казарме и играли в очко, а вечером, придя ужинать, каждый нашел около своей тарелки по маленькому штрицелю.

Берлинская племянница, относившая на блюде штрицели Альфонсу и Марте, остановилась около пленных на минуту и приняла от них благодарность, совершенно искреннюю, ибо штрицели всеми, не исключая Игната, были съедены немедленно и с удовольствием.

Конвойный поднялся к молодым наверх и через некоторое время спустился веселый, с блестящими глазами. За ним скатился с лестницы Корль: он был пьян и, споткнувшись, вылетел во двор плашмя. Пленные засмеялись, а Корль, вскочив на ноги, захотел драться. Быть может ему вспомнилась затрещина, когда-то полученная от Кости, потому что он остановился именно перед ним, размахивая руками.

— Тише, Корль, — сказал конвойный, оттаскивая его, и в виде особого аргумента добавил, показывая на Костю: — Костя — сержант.

— Сержант он или нет, — крикнул Корль, — он пленный, и я ему дам по морде...

— Предоставь это мне, — тонко улыбнулся конвойный, — когда я найду нужным. Штатские люди тут ни при чем...

На следующий день все работали, как обычно. Каролина в поле не вышла. Гуго пахал озимое. Корль мыкался с боронoй, томясь по точному времени. Пауль, работавший с Костей, вспоминал вчерашний пир и напевал услышанные вчера мотивы. По какому-то случаю он дал подзатыльник Фрицу, повертевшемуся тут же; Фриц захныкал и сказал, что он пожалуется папе...

— Фриш папа, [1] — передразнил его Пауль и с гримасой взглянул в сторону Гуго.

Гуго работал с напором. Ему не терпелось. Получасовой

---

1 Свежий папа.

отдых на завтрак казался ему слишком длинным, и он раньше времени взялся за работу. Ему подвернулся Костя, и он дружески пожал его локоть и поблагодарил, точно Костя поздравлял его.

— Конечно, — сказал он, улыбаясь и отвечая каким-то своим мыслям, — свадьба обошлась мне недешево. Но ведь это — раз в жизни. Теперь — фесте шпарен! ..[1]

Он посмотрел вперед, полный решимости, и вложил эту решимость в жест, с которым двинул вперед лошадь и взялся за плуг.

10

Лучшее время для побега было уже упущено. Поля опустели, между тем высокая рожь, если войти в нее, не оставляя следа, была надежным убежищем для беглых на день. На полях Альфонса косцы не раз натыкались на притоптанные круглые места и каждый раз весело взглядывали друг на друга:

— Здесь сидел наш. . .

Нескошенные овсы еще синели местами, но они были слабой защитой для беглых. Зато картошка, поспевшая к тому времени и невыкопанная, спасала их от голодной смерти. Если пропустить еще две-три недели, на полях остались бы только бурак и пшеница в ящиках сеялок, кроме того из-за холодов побеги в это время делались мучительными, нельзя было пускаться в путь без шинели, которая до зимы висела у конвойного под замком.

В кухне у Марты на стене висел календарь. Костя завел моду, проходя мимо, останавливаться, перебирать листики, щурить глаза и со скучающим видом отходить. Игнат следил за ним, зная, что он это делает не спроста, точно так же, как не спроста в казарме иногда вынимает ученическую тетрадку, купленную в деревенской лавочке и случайно оказавшуюся с картой Германии на обложке, и будто в ней что-то считает. Этим его маневрам Игнат придавал большое значе-

---

[1] Строгая экономия.

ние. С Костей, от которого он ждал знака, он был почтителен: в нем просыпался в таких случаях рядовой, обращающийся по службе к унтер-офицеру. Костя скупо цедил слова, хмурился, давал знак ждать.

Однажды, ложась спать, Костя около параши сказал Игнату:

— Семнадцатого заход солнца в восемь двадцать одну...

— Через пять дней...— подсчитал Игнат.

— Семнадцатого луна — меньше четверти...

Объяснять дальше не требовалось. Если семнадцатого, как и во все последние дни, пленных поведут на ночлег к восьми часам, то, проскочив во время ужина через задние ворота в поле, уже пустое в это время, можно было отбежать до картошки и спрятаться в грядах. Поиски во дворе и беготня за конвойным заняли бы с четверть часа, а затем из-за темноты поиски должны были бы прекратиться. За ночь же беглецы успели бы отойти настолько далеко, что, даже в случае поимки на следующее утро, их отправили бы не прямо во двор Вейнерта, а через этапы в лагерь на расследование. Это спасало их от первой мести конвойного, которая рецидивисту Косте была особенно страшна.

Семнадцатое засело в голове. За пять дней, что оставались до семнадцатого, в трубу под мостом полегоньку переносилось снаряжение: вторые куртки, мешок с сухарями на неделю, соли для картошки на месяц, табак, спички. Туда же с особенными предосторожностями была запрятана тетрадка с картой Германии на обложке: казалось, без этой тетрадки ничего не выйдет.

Компаса не было. У одного из команды болтался на жилете брелочный компас, но он был нужен ему самому, и кроме того был ненадежен до такой степени, что конвойный не мешал носить его открыто и иронически поглядывал на пленного, который как будто связывал с этой штучкой какие-то надежды. Побег без компаса казался Косте несолидным делом, но в этом пункте Игнат не беспокоился и дал ему понять, что с компасом он устроится.

К удивлению Кости, Игнат лазил под мост на глазах Никиты и других. Гурген при этом усмехался и смотрел в сто-

рону. Между тем Костя знал, что у него был доверительный разговор с конвойным по поводу поднятой над его головой косы: Гурген серьезно опасался за свою жизнь и хотел, чтобы в случае чего убийца был известен. Кроме того, совсем недавно он получил от конвойного лишнюю пару сапог, в то время как у иных не было и одной годной пары, — такие любезности делались не даром, и было только неясно: надувал ли Гурген конвойного, или же думал работать для него всерьез?

Семнадцатого Игнат вышел на работу в плюшевом жилете, который раньше надевал только по праздникам, и одно это должно было уже обратить на него внимание. Лицо его также бросалось в глаза. Оно было торжественное и с надрывом, как у тоскующих, загулявших бородачей, перед тем как им разойтись на весь размах.

Еще хуже, что он не мог обойтись без прощаний: в обед он заблаговременно попрощался с Никитой, своим однодеревенцем, которому изложил свое завещание, и поклонился в ноги, а потом с Каролиною и Гуго, очень удивленными его внезапным визитом, во время которого он успел выложить перед Гуго подарок — безопасную бритву, пожать его руку, погладить Фрица, посмотреть на Каролину и быстро уйти, вогнав их в слезы, но никому ничего не объяснив.

Костя со страхом следил за его подвигами, о которых узнавал из третьих рук, — до такой степени дело пошло вширь. Он ругал себя за то, что связался с человеком, обставляющим свои побеги так торжественно, и считал дело погибшим. Не лучше ли было с утра сказать Игнату, что побег не состоится?

Семнадцатого Игнат, остановившись перед Костей, вынул из жилета часы, открыл крышку и с значительным видом поднял циферблат к его лицу. Стрелки показывали время на несколько часов назад.

— В чем дело? — спросил Костя, не понимая.

— Я их остановил... — ответил Игнат и замолчал, считая, что сказал достаточно и Костя сам догадается.

Но Костя не догадался.

— Для чего?

— Мои стоят, твои ходят, — неужели не понимаешь?

Костя смутился. Он слышал когда-то, что действительно двое часов, остановившиеся и идущие, могут заменить компас, если только знать, как ими пользоваться, но подробностей он не знал.

— Это очень трудно... — сказал он уклончиво. — Толку не добьешься, а только запутаешься...

— Значит, не можешь? — спросил Игнат, очень удивленный.

— Не берусь... — решительно ответил Костя.

— Как же так? — не понимал Игнат. — На фронте наши разведчики так делали. Я на тебя надеялся...

Костя промолчал. Случай с часами сильно уронил его в мнении Игната, зато и сам он сильно разочаровался в Игнате после его земных поклонов. Он хотел сказать, что побег откладывается, но не решился.

Семнадцатого к работнице Ригер приехал с фронта муж — седой тыловой ландштурман. С утра он сводил счеты с Бертой и другими, кто обижал его жену в его отсутствие. В работничьем доме стоял крик: вопил по-фронтовому Ригер, Берта защищалась и визгом, и возгласами, и специальным грудным смехом. Винтер хохотал как посторонний зритель и подзуживал спорящих. К полудню Ригер почистился и пошел в город регистрироваться в гарнизонном бюро.

У Альфонса с обеда молотили. Альфонс послал Пауля наверх сбрасывать снопы, а сам с часами в руках считал, сколько снопов в среднем проходит в минуту, — темп не удовлетворял его. Его раздражал также Костя, придумавший себе облегчение: чтобы не поднимать с земли полных мешков, он отрывал из-под рукавов половинки и мчал их через двор, предпочитая пробегаться дважды с более легким грузом.

Альфонс начал ему что-то говорить, хотел переставить людей у машины, но неожиданно был позван Мартой в дом. Марта заглянула в сарай и показала с порога конверт:

— От Адальберта...

— Сейчас... — отозвался Альфонс недовольно и продолжал распоряжаться, но странная вещь, чуть не впервые за два

года никто не мог понять, чего он хочет. Он шевелил губами, он показывал рукой, кому куда стать, он смотрел на людей умоляюще, но может быть потому, что ничего, кроме хрипа, из его глотки не выходило, все делалось не так, как он хотел, и, сбившись с тона, он перестал хрипеть и ушел.

В его отсутствие Никита стал задавать в барабан с прохладой, чтобы дать вздохнуть Косте, которого половинки затерли. Альфонс вернулся не скоро; он вышел из дома с обвисшим лицом, постоял во дворе, прислушался к звуку молотилки — барабан скрежетал впустую, но стоило ему подойти к сараю, и он опять стал давиться полной дачей: разница была очевидна, он мог бы что-нибудь сказать, но промолчал. Он снова вынул часы, чтобы проследить темп, и, не досчитав, бросил. Казалось, он не хотел ни ссориться ни говорить.

— Продолжайте, продолжайте... — устало сказал он и прислонился к стенке снопов.

Костя, которому он перед уходом начал что-то говорить насчет его манеры носить мешки, ожидал от него продолжения и взглянул на него с вопросом, но даже и Костю на этот раз Альфонс решил одобрить, чтобы отвязаться от него.

— Я понимаю вас, Костя, — сказал он, тяжело двигая языком, — отнести два раза по полмешка — это то же самое, что отнести один раз целый мешок. Это — тоже система. Таблица умножения за вас, Костя.

И, не кончив, он прислонился к снопам и закрыл глаза. Ноги не держали его. Рукой он шарил около воротника. У него начался припадок удушья. Пауль побежал в дом за Мартой, которая явилась сейчас же с искаженным тревогой лицом.

— Тебе надо прилечь. Идем со мной.

— Пустяки... — сопротивлялся Альфонс. — Мне надо быть здесь.

Гурген сделал жест, чтобы остановить мотор, но Альфонс знаком велел продолжать работу. Припадок у него прошел, но лицо было красно и ворот растерзан.

— Тебе нельзя дышать этим воздухом, — настаивала Марта, — идем.

Оба стояли сбоку машины, мешая пленным работать, подгребальщики задевали их граблями; и, словно почувствовав себя лишними, они вышли наружу и под руку двинулись к дому.

Молотилка скрежетала им вслед.

В феспер,[1] когда Игнат, в плюшевом жилете и чистой рубахе, лежал на снопах, было самое время объявить ему, что побег не может состояться и как-раз из-за жилета, который ему хочется унести с собой, и из-за рубахи, так некстати чистой. Но, когда он увидел светлое и прощальное выражение, с каким Игнат смотрел вокруг, он отошел от него, ничего не сказав. Люди с таким выражением уже неспособны ни на какие отсрочки. Он чувствовал себя на поводу у Игната, и ему оставалось только ждать вечера.

В феспер из города вернулся ландштурман Ригер. Он был пьян и шел по прямой, улыбаясь встречным. В городе, проходя мимо редакции газеты, он видел плакат с последними известиями. Он помахал пленным рукой и ласково объявил:

— Руссише оффензиве ист дурхгеброхен. Руссланд вюншт фриден...[2]

Никто не понял его, и только Костя переспросил:

— Оффензива? Какая оффензива?

Ригер пожал плечами. Он сам не очень твердо знал, где происходило дело. Он посмотрел вверх, словно восстанавливая в памяти слова на плакате, и еще ласковее повторил:

— Руссише оффензиве ист дурхгеброхен...

Затем он взял под козырек и проследовал к себе.

В феспер, выдавая пленным по ломтю хлеба с творогом, Марта в раздумье сказала Косте:

— Вы берете хлеб с таким видом, точно вы несчастнейший человек в свете, и конечно думаете, как от нас убежать... Между тем вы совсем не так несчастны.

Костя насторожился: не было ли странно, что она заговорила о побеге именно сегодня? Не очевидно ли, что послед-

---

[1] Феспер — вечерний перерыв.
[2] Русское наступление прорвано. Россия хочет мира.

няя курица во дворе Вейнерта уже осведомлена об этом предприятии?

Но оказалось, что предисловие понадобилось Марте, чтобы перейти к вещам, более для нее интересным:

— Есть люди, которым приходится гораздо хуже. Наш Адальберт — вы его застали, когда приехали к нам — он сейчас в окопах. И вот что он пишет: „Французы от нас не дальше, чем от крыльца до большой липы. Они работают огнеметами“ ...

Она посмотрела на огромную липу сейчас же за оградой и улыбнулась искаженной улыбкой.

— Так было четыре дня назад. Кто знает, где он сейчас? Огнеметы — ужасная вещь...

Она еще раз взглянула на липу, задумалась и потеряла интерес к разговору с Костей. Костя подождал и повернулся к выходу. В другое время он посочувствовал бы Марте, сейчас он был доволен. Болезнь Альфонса, письмо Адальберта, пьяный Ригер и прочие необыкновенные вещи, случившиеся за день, — все это были плюсы, облегчавшие побег и уравновешивавшие минусы от неосторожного поведения Игната.

Конвойный ужинал в этот вечер в другом хозяйстве, через много дворов от Альфонса, и это также было огромным плюсом. Пленных в казарму должен был вести кто-нибудь из работников — Корль или Пауль. Зато очень большим минусом была погода: вечер, как и день, был жаркий, безветренный. В такую погоду люди не торопятся уходить с полей, а часовые не прячутся в караулки и не подымают у шинелей воротников.

В семь пятнадцать Костя сказал Игнату, что бежать в такую погоду бессмысленно. Игнат взглянул на него с негодованием и твердо ответил:

— Если ты трусишь, я и один уйду...

Костя обиделся и обрадовался одновременно.

В семь тридцать сели за стол. Все обстояло как всегда, и только необычная ласковость во взглядах товарищей угнетала Костю, напоминая, что побег без полной тайны — треснувшее дело. Даже Гурген смотрел светлее обыкновенного и повиди-

мому сочувствовал без фальши. Откуда-то не в очередь появился на стол большой японский огурец, нарезанный и с уксусом — дар стряпки пленным, и это событие, до тех пор не случавшееся, свидетельствовало, что и стряпка через Никиту была посвящена в дело.

Без четверти восемь Игнат, прожевывая огурец, встал и толкнул Костю локтем. Он вышел словно за делом во двор и не спеша прошагал к калитке на полевую дорогу. Костя шел в нескольких шагах, морщась и до слез благодарный Игнату за то, что он все-таки встал без четверти восемь.

Семьдесят шагов до калитки еще не решали дела. До калитки можно было спиной и походкой изображать, что идешь не торопясь, по своему делу. За калиткой дело менялось. За калиткой Игнат побежал: задыхаясь, оглядываясь на Костю, на ходу накрещивая себя по плюшевому жилету. Под мостом оба с разных концов слазили в трубу и вылезли оттуда потолстевшие, в двух куртках, с мешками.

От моста пришлось взять вправо мимо картофельного поля, ибо по левой дороге двигались какие-то тени. Некогда было особенно разглядывать, что это были за тени, надо было дать им отойти, а самим с угла залечь под зелень в картофельные гряды. От угла дорога шла под обрыв, и у теней создалось бы впечатление, что встреченные ими люди пропали в обрыве, в то время как на самом деле они лежали в зелени у самых их ног.

Одна из теней, самая маленькая и согнутая, — Шульц, возвращавшийся с картошки, — не останавливаясь, плелась вперед и исчезла. Темный предмет у тени через плечо был несомненно знаменитым осенним пальто, спасаемым от воров. Две другие тени — Анне-Мари и Каролина — остановились и осмотрелись. Анне-Мари, встретив непонятных прохожих, не могла итти дальше, не выяснив, что это были за люди.

— Это Руди Рихтер с кирпичного завода, — предположила она, радуясь быстроте своей догадки, — он сменился в семь и заходил к Криштофу за картошкой...

Каролина молчала.

— А второй, — продолжала Анне-Мари, — конечно, Кристен

Франц. Руди и Франц друзья, и у Франца есть черная куртка.

— Ах, нет, — возразила Каролина резко и с неудовольствием, как всегда, когда Анне-Мари начинала путать. — Руди Рихтер и выше и толще. Он самый высокий мужчина в Козельберге...

— Ну, значит, это Барфус Пауль, — сказала Анне-Мари, все еще весело, но уже с меньшей уверенностью, — а с ним младший сын, тот, что вернулся с войны...

— И не Барфус также, — еще резче оборвала ее Каролина. — Фрици Барфус вернулся с войны на деревяжке. А эти двое шагали обеими ногами...

— Тогда, может быть, это братья Бишоф? — в третий раз предположила Анне-Мари, но тон ее из утверждающего стал вопросительным. — Они приехали в отпуск?

— Мой бог! — громко и страдальчески вскричала Каролина. — Неужели ты забыла, что оба Бишофа уже два года, как убиты на войне?

— Ах, да, — испуганно вздохнула Анне-Мари. — Я совсем забыла...

Она сказала еще что-то, тихо и с переходами голоса, как бы оправдываясь, и смолкла совсем. Больше она не решалась ничего предполагать.

Тени постояли еще минуту и двинулись дальше.

— Знаешь, кто это? — вдруг из отдаления послышался голос Каролины, подстегнутый болью, звонкий голос, совершенно непохожий на тот профессорский тон, каким Каролина только что говорила с Анне-Мари. — Знаешь?

— Кто? — басом спросила Анне-Мари, снова по-детски любопытная. — Ну, говори.

— Это...

Слов не было слышно, но тонкий сдавленный плач, донесшийся издалека, тоскливый плач по утраченном навсегда, вдруг потрясший Каролину, показал, что она правильно разгадала, кто были необычные пешеходы, по крайней мере, кто был один из них.

Этот плач слышался некоторое время, потом смолк и он.

11

В восемь двадцать девять на средней полевой дороге показался зеленый огонек: конвойный на велосипеде объезжал владения Альфонса Вейнерта, повидимому, для очистки совести, ибо сумрак уже становился черным. У оврага дорога кончалась; огонек сделал круг и повернул назад.

— Завтра приведут собаку... — неожиданно решил Костя, хотя мысль о собаке до тех пор не приходила ему в голову.

— А если еще сегодня ночью? — подхватил Игнат, сразу уверовав в собаку.

Собака была враг, гораздо более опасный, чем плывущий в темноте огонек, чем завтрашняя облава молодежи. В казарме остались вещи с их запахом: солома на нарах, попоны, мешки с брошенной мелочью, — никто не предупредил товарищей, что вещи после них надо перепутать, спрыснуть дезинфекцией, пересыпать паприкой, а сами они едва ли догадаются.

— Догадаются, — сказал Игнат с полной уверенностью. — Ты нашей команды не знаешь...

Были и другие доводы, утешительные для беглецов:

— Собаку Альфонсу пришлось бы выписывать из города за свой счет...

Кроме того:

— Альфонсу сейчас не до собак...

И главное:

— Если всех беглых пленных немцы будут ловить с собаками, то в Германии нехватит собак.

И все-таки, если при всех неудобствах ночного передвижения — без дороги, с оглядками и заметанием следов, с длительными пережиданиями в канавах и редкими вылазками на перекрестки для чтения надписей на столбах — они в первую же ночь откачнулись от Козельберга на шесть километров, — этому немало помог призрак полицейской собаки, от которой они не ждали спасения.

С рассветом они залегли в яму на холме, откуда горы на горизонте были попрежнему далеки, но куда достигал гудок

кирпичного завода близ Козельберга. Сам Козельберг лежал в отдалении внизу, и отчетливо была видна большая липа, о которой писал Адальберт.

Они провели мучительный день в ожидании собаки, а к ночи собака погнала их дальше. Она преследовала их еще несколько дней, но так же безрезультатно, и понемногу они перестали ее бояться. Вероятнее всего, никакой собаки и не было, а был всего лишь телефонный звонок от конвойного по начальству и на границу, где чья-нибудь скучающая рука приписала к огромному списку беглых пленных еще две фамилии, с отметкой, что в случае поимки русских с такими-то фамилиями их следует направить в Козельберг, в команду с таким-то номером.

Гроза и дождь на шестой день побега помогли им перейти австрийскую границу. Многие беглые благословили эту прекрасную ночь, когда у часовых затылки и уши были запрятаны в воротники, когда штыки за их спиной наводили ужас на них самих, ибо могли привлечь молнию, когда они обходили свои участки, подхлестываемые дождем, с единственной мыслью поскорее смениться и без желания хвататься за винтовку даже и при достаточно подозрительном шорохе.

В Судетах, далеко за пограничными столбами, весь следующий день отдыхали. Лесные места, мало людей. приятно, проснувшись после тревожной ночи, полежать на солнце под кустом дикой малины, срывая ягоды губами. Приятно сознавать, что собаке нет хода через границу. Еще веселее представлять себе, как с каждым днем вытягиваются лица в Козельберге, — сведений о поимке беглых с такими-то фамилиями не поступает и не поступает... Совсем весело от уверенности, что таких сведений туда уже и не поступит: Козельбергу — точка...

После приятного дня наступила ночь, и ночью Судеты показали, что для побегов они малоподходящее место. Дороги в горах круговые, по спирали — кольцо спирали во много верст, а на самом деле служит для того, чтобы поднять телегу с грузом на десяток сажен. Можно наплевать на дороги и всю ночь продираться сквозь ельник с направлением как

будто на восток, чтобы утром прийти к тем же самым местам, откуда вечером вышли, и даже найти след от своего вчерашнего костра. А если такая история повторится не раз и не два, лучшие друзья посмотрят друг на друга с разочарованием и заведут каждый свои особые мысли.

Призрак собаки исчез, но вскоре исчезли и сухари, до конца съеденные. Картофельные участки попадались редко и то лишь у избушек лесников, от малины и грибов тошнило. Падала дисциплина: на рассвете, чтобы выдержать стужу, уже требовалось жечь костер, без чего прежде обходились.

Днем Костя, с выросшей бородой, разглядывал карту:

— Здесь Австрия входит в Германию острым углом. Мы пересекли одну сторону угла, но стоит нам чересчур углубиться в том же направлении, и мы снова вылезем в Германию...

Он подвигал карту Игнату, словно оправдываясь и прося его убедиться, но Игнат смотрел строптиво:

— Кто его знает...

Костина карта уже не вызывала в нем почтения.

— Где фронт? — спрашивал он кратко.

Костя показывал. До фронта спичка укладывалась три раза.

— А сколько мы прошли?

Кусочек — чуть побольше спичечной головки.

Игнат откидывался, возмущенный и с удивлением.

— Когда же мы придем?

— Видишь ли, Игнат, — осторожно начинал Костя: — добраться до фронта в один прием нам едва ли удастся. Но есть другой способ: мы отойдем подальше в Австрию, нас арестуют и отправят в австрийский лагерь, а оттуда на работу — куда-нибудь в Галицию — и вот уже мы ближе к России. Снова побег, снова арест — новый лагерь, еще ближе к России, и наконец...

Игнату такая бухгалтерия не нравилась:

— Если нельзя на фронт, чего было трепаться?..

Он не верил взятому Костей направлению. Несколько раз он говорил о каких-то высоких трубах, идущих сплошь на десятки верст, о воздушных вагонетках на столбах из желез-

ной паутины, об огромных зданиях из стекла, которые он видел по дороге в плен, через верхнее окошко запертого товарного вагона, и которые желал увидеть на обратном пути. Судя по лагерю, куда его привезли, он говорил о трубах Силезского горного округа. Костя уверял его, что сейчас они взяли на юг и трубы остались в стороне, но Игнат снова и снова возвращался к ним.

Его сведения из географии были очень спутанные. Однажды в Судетах, выйдя в темноте на берег горного озера, он серьезно спросил Костю: не Черное ли это море и не попали ли они случайно в Турцию? Между тем был всего десятый день побега, из которых последние четыре они топтались на месте.

В Судетах Костя оказался во всем виноват. Он не умел делать компас из двоих часов, и из-за этого дело гибло. На досуге он пробовал своим умом догадаться, в чем тут был секрет, брал у Игната часы и подолгу вертел их в руках. Игнат иронически наблюдал его. Совсем другое лицо было у него теперь, не такое, как в первые дни, когда на отдыхах подкладывал он Косте лучшие сухари с черемухой или когда ночью на перекрестках подставлял спину, чтобы Костя прочел надпись на столбе.

Костя теперь долбил одно: надо держаться на восток. Но где он, этот восток, когда ночью плутаешь среди деревьев, не видя звезд. Косте казалось, что Игнат, живавший в пермских лесах, должен лучше его находить направление. Об уменьи Игната ходить по лесам у него были преувеличенные представления, такие же, как у Игната о его карте и его немецком языке.

— Игнат, — спрашивал Костя с надеждой, — где восток?

Игнат долго соображал и показывал в какую-нибудь сторону.

— Игнат, — спрашивал Костя через некоторое время, снова запутавшись: — где восток?

Игнат показывал, но уже соображал гораздо меньше.

В дальнейшем промежутки между вопросами и ответами делались все короче, в жесте были досада и небрежность, и

как-то раз Костя заметил, что Игнат с одного места показывал в разных направлениях. Так мог делать человек, только разуверившийся в побеге, смеявшийся над товарищем и таивший свои особые мысли.

Однажды ночью, в самое горячее время, они сидели без толку над обрывом, утомясь скитаниями по местам, на которых они уже были.

— Нам надо вниз...—вдруг сказал Игнат, как командир, показывая на чащу ельника, покрывавшую обрыв.—Вставай...

— Зачем нам вниз?—удивился Костя.—Мы там были вчера. Мы ходим вокруг одной и той же горы.

— Все равно,—настаивал Игнат.—Итти так итти. Нечего сидеть...

— Но зачем через чащу, когда есть тропа?—сопротивлялся Костя.

— Как знаешь!—крикнул Игнат, задыхаясь.

Он ринулся вниз сквозь дебри, сопя, работая руками. Костя невольно двинулся за ним, попадая под удары раздвигаемых им ветвей. Он считал, что в Игнате говорила потребность преодолевать препятствия, что-нибудь делать, чем-нибудь утолить бушевавшее в нем раздражение человека, готовившегося к подвигам, но попавшего в нудную заводиловку. Он считал это признаком еще сохранившейся в нем энергии и был рад этому, ибо сам от голода давно предпочитал сидеть на одном месте и мрачно размышлять.

Но вдруг он заметил, что Игнат словно меняет след, он зарывается к кусты все дальше в сторону, иногда затихает, и тогда кусты перестают шуметь,—было похоже, что он попросту хочет убежать от Кости, как от досадного, потерявшего кредит командира.

— Игнат!—окликнул Костя тихо.—Игнат!

Никто не отвечал ему, и почти сейчас же, через несколько шагов, он наткнулся на Игната, который должен был слышать его зов, но не отозвался.

— Я здесь...—выдохнул Игнат, глядя мимо Кости.— Я здесь. Чего тебе?..

Место, куда они пришли, было, как и говорил Костя, одним из поворотов круговой дороги, по которой они плутали уже несколько дней.

Днем, в прикрытии, устав от дум в одиночку, разговаривали. Игнат все чаще вспоминал о Козельберге: как они там без них? Выкопали ли картошку? И кто теперь отгребает у машины? И кому в эту зиму Альфонс поручит делать грабли, которые в прошлую зиму делал Игнат? К этим вещам у него был интерес и теплота, и было видно, что Козельберг повернулся к нему другой стороной.

— Из-за чего я от них бежал? — задал Игнат сам себе вопрос и, подумав, ответил: — из-за конвойного... Хозяева его кормят, и пленный у него всегда виноват...

Костя не поверил, чтобы все дело было у него в конвойном, но промолчал.

— Впрочем, — перебил сам себя Игнат, — конвойному иначе нельзя. Не будет потрафлять, его из деревни выживут, на фронт отправят... Альфонс — вот кто главный командир. Гордец, пленных за людей не считает... Блошивую солому назад требует... За два года работы — двадцать папирос...

— Впрочем, — продолжал он размышление, — не в Альфонсе дело. Он хозяин, ему нельзя распускаться. Марта — вот главная язва. Ведь это она конвойного на меня натравила...

Еще дальше нашлось оправдание и для Марты. Костя ждал, когда дело перейдет к свадьбе Гуго и Каролины, которую он для Игната считал главным поводом к побегу, — но или он в Игнате ничего не понимал, или Игнат не хотел быть с ним искренним, — о них он промолчал.

Одно было несомненным: Козельберг снова стал для Игната местом, о котором было приятно вспомнить. А когда человек в побеге начинает смотреть не вперед, а назад, это означает, что к такому человеку бесполезно обращаться с вопросами, где восток и где запад, ибо ему это уже безразлично и все его мысли, вольно или невольно, клонятся к тому, чтобы быть арестованным.

Ночью добыли картошку и в яме в лесу разложили костер.

Стало уютно, но между делом Игнат сказал, будто в эту ночь, плутая, они переступили какие-то камни, похожие на пограничные, — в свое время он не придавал этому значения, а сейчас вспомнил.

Костя взволновался. Последнее его утешение — уверенность, что он находится в Австрии, а не в Германии, — заколебалось.

— Туши костер, — сказал он резко. — Опасно...

— Это зачем? — недружелюбно ответил Игнат, заслоняя собой костер.

Костя отступил.

— Ты точно помнишь, что это были камни? — спросил он еще раз.

— Как будто... Да и не все ли равно: Австрия или Германия? — тяжело засмеялся он потом. — Сдаваться надо, сержант, вот что... Не вышло наше дело...

— Игнат, — выдвинул Костя последний довод: — ты бежишь в первый раз, тебя простят. А мне за второй побег, если я к немцам попаду, знаешь что будет?

— Вот и выходит, — ответил Игнат, — что у нас с вами шкура трещит по-разному. Если вам наш костер не нравится, можете себе отойти и прятаться, как хотите. А мне — плевать. Я желаю у костра сидеть...

— Прощай! — сказал Костя, вставая, взбешенный, но довольный тем, что дело наконец пришло в ясность. — Будешь в Козельберге, кланяйся Альфонсу.

Он рванул котомку и пошел в темноту.

— Стой! — переждав момент, вскочил Игнат. — Так нельзя... Надо по хорошему...

— Я не виноват, что так вышло, — сказал он, когда Костя снова подошел к огню и остановился, не кладя мешка на землю. — Мы вместе пошли на это дело, мы столько времени были товарищами. Скажи, что мы расходимся по-хорошему!

— Конечно, — сказал Костя, тяготясь объяснением, — ты не виноват в том, что мне нельзя сдаваться...

Он торопился уйти. Он словно боялся, что Игнат вдруг раздумает и снова захочет честно продолжать побег, и тогда он не будет знать, что ему ответить.

— Подожди, — остановил его Игнат.

Он развязал котомку, достал пачку табаку, отсыпал немного в табачницу, остальное протянул Косте.

— Это тебе...

Он выгреб из золы картошку, бо́льшую часть отделил Косте, ему же отдал спички, всю соль, снял с себя какую-то добавочную, споротую где-то подкладку, которую носил от холода.

— Мне уже не надо. Если ночью меня не загребут, сам завтра на дорогу выйду...

На прощанье они поцеловались. Они перестали быть ярмом друг для друга, и опять в их отношениях появилась прежняя сердечность.

— Что же... — сказал Игнат раздумчиво на самый конец, — у тебя карта. Может, ты с ней чего и добьешься.

И снова почтение к карте было в его голосе.

Отойдя, Костя долго разглядывал костер. У огня, успокоенно потягиваясь, заложив руки под голову, лежал Игнат и смотрел вверх; в такой позе перед побегом он лежал на снопах, и, может быть, та же ясность и решимость были теперь в его душе: как и тогда, он твердо знал, что ему предстоит делать.

Костя мыкался еще три дня: по карте — все еще в пределах спичечной головки. Главной его заботой было найти пограничные столбы, которые будто бы они во второй раз перешли с Игнатом, узнать: в Австрии ли он или в Германии?

Ночные переходы попрежнему никуда не подвигали, он стал похаживать днем, — подготовляя себе этим провал, — мерз на рассветах, отсыпался на солнце в полдень.

Солнца было мало, из ям и из прикрытий тело тянулось к теплу, осторожность забывалась, и однажды он проснулся не сам, не от того, что выспался, и не от начавшегося дождя, — его разбудило чужое и неласковое прикосновение.

Открыв глаза, он прежде всего увидел палку, пахучую, свеже вырезанную, концом которой кто-то шевелил его локоть. Выше палки была корзина с грибами, а еще выше востренькое бородатое лицо. Человек был очень мал ростом и носил

драное платье. Он ничего не говорил, но смотрел на Костю с угрожающим лицом.

— В чем дело? — сказал Костя, вставая, с независимым видом. — Вы штатский человек, какое вам дело? Идите своей дорогой...

Но человек застучал палкой о землю, поставил корзину под дерево и схватил Костю за руку.

— Я никому не делал вреда, — сказал Костя тоном убеждения. — Не мешайте мне итти, куда я иду...

Человек задвигал губами, коротко промычал и, дернувшись, потащил Костю за собой. У него была цепкая рука. Костя, упираясь, продолжал говорить. Он перешел к просьбам, он простым и ясным образом доказывал ему, что он не злодей, а пленный, и идет домой в Россию, и что только человек без сердца может ему в этом мешать; он обращался к его жалости, но человек тряс головой все яростнее и, выбрасывая слюни, мычал. Наконец Костя понял, почему он не отвечает ему: он был глух и нем, — можно было до вечера распинаться перед ним, и он все равно не понял бы ни звука. У Кости опустились руки, и он молча пошел впереди человека, который одной рукой держал его за плечо, а другой держал наготове палку.

По одну сторону дороги был редкий сосновый лес, по другую — поле с работающими на нем людьми. Костя посматривал в сторону леса, и человечек, заметив это, снова замычал и застучал палкой, а затем, забежав вперед Кости, повернулся к нему с улыбающимся и хитрым лицом и начал что-то показывать на пальцах.

Повидимому, от мер устрашения он решил перейти к мерам убеждения. Он показал на лес вдали, помотал пальцами у себя под носом и сморщился, точно от дурного запаха.

Это могло означать:

— Не ходи в лес: там плохо пахнет...

И Костя, ошарашенный его преувеличенной мимикой, так и понял его и с удивлением посмотрел на лес, соображая, что бы там могло плохо пахнуть?

Человечек еще раз показал на лес, сделал зловещее лицо, схватил себя сзади за шею и кляцнул зубами.

Это означало:

— Не ходи туда: там тебя схватят за шею...

Затем он повернулся в другую сторону, где за полем были видны яркие черепичные кровли, и изобразил на лице восхищение. Все в этой стороне было прекрасно. Он показал, будто что-то ест и что-то пьет, и перевел палец на Костю, давая понять, что пить и есть дадут Косте. Он несколько раз ткнул Костю пальцем в грудь, чтобы у него не оставалось сомнений.

Его резкая и страстная мимика в первые минуты действовала на Костю подавляюще, невозможно было оторвать взгляда от его лица, но очень скоро Костя привык к нему и стал соображать. Кем, собственно, был этот человечек, явившийся мычащим препятствием на его пути: каким-нибудь десятым помощником лесника, вооруженным только палкой? Не позорно ли сдаваться глухонемому? Не лучше ли показать ему кулак и броситься от него в сторону, в тот самый лес, в котором плохо пахнет? Если люди, работающие на поле, не захотят бросать работу, дело может выгореть.

Толкнув человечка в грудь, он бросился через жнивье к лесу. К его удивлению человечек, пронзительно промычав, побежал не за ним, а в противоположную сторону, к людям на поле, дико размахивая палкой. Люди на поле, повидимому привычные к подобным делам, сейчас же отозвались и бросились вдогонку. Костя, задохнувшись, остановился: нельзя было рассчитывать уйти от стольких преследователей. В деревню он вошел со связанными руками, под конвоем того же человечка и под наблюдением издали всех остальных.

Деревня называлась Вейсбах. Это он прочел на столбе. Там было еще написано, сколько в ней было жителей, но ничего не говорилось — в Австрии она или в Германии. Люди говорили по-немецки. Костя, мучась неизвестностью, шагал вдоль домов.

Седой военный, в белых штанах, черном мундире и с галуном на кепи, шел ему навстречу. Это был несомненный австрияк, сельский жандарм, принявший Костю в свое ведение. Он был дружелюбен, с первого же слова вспомнил, что че-

ловек, столько дней проведший без крова, должен хотеть есть, и повел его к старшине, который и должен был придать его дружелюбию вещественное оформление и накормить Костю хлебом и кофе.

Затем на голову Кости одна за другой обрушилось несколько радостей.

По дороге в арестный дом жандарм сказал ему:

— Если вы хотели в Германию, вы не добежали совсем пустяка: граница — вон там...

Он показал как-раз на лес, в котором плохо пахло и куда по счастью не добежал Костя.

— Но раз вы в Австрии, — продолжал он, — вы в Австрии и останетесь. По новому указу, Австрия не выдает пленных...

К ночи Костя был доставлен в уездную тюрьму. Там уже несколько дней сидел Игнат, дожидаясь отправки внутрь Австрии.

ЗАВОД ЛИКАНА

1

Поздней осенью на кирпичный завод Ликана привезли партию русских пленных — тридцать голодных, по-особенному одетых людей. Пленных ждали утром и приготовили для них завтрак, ждали к обеду и приготовили обед, они приехали только к сумеркам, и хотя им дали и завтрак, и обед, и ужин сразу, они не были сыты и, едва разместившись в бараке, все куда-то исчезли.

Завод стоял за городом, среди пустырей и огородов, и еще по дороге со станции люди присматривались к местности, чтобы ночью без ошибки попасть на картофельное поле.

Младший конвойный заглянул в барак и, не найдя там никого, побежал докладывать старшему, что пленных нет на месте, что должно быть они разбежались.

— Они вернутся, — сказал старший успокоительно. — Теперь им надо недели две есть картошку, пока кто-нибудь действительно захочет бежать...

Ночью наверху у заводской обжигательной печи неуверенно бродили людские тени, отыскивая отверстия, чтобы опустить в огонь котелки. По темным углам шли заглушенные разговоры.

Пан Печик, обязанный каждые четверть часа подсыпать через каслики угольную пыль и следить, чтобы печь не выстуживалась, долго сопротивлялся людям, непременно желавшим опустить котелки на проволоке поближе к огню, он призывал бога и дьявола против людей, не понимавших, что открытый

каслик — гибель для кирпича, но подконец должен был уступить и удержал за собой только девять главных касликов непосредственно над тем местом, где калился свежий кирпич. Он был расстроен и обескуражен.

— Нех шляхт трафи цих холерских москалей...

В первый раз он имел дело с людьми, не желавшими понимать, что он, Печик, служитель огня, заключенного сейчас под девятью касликами, ждет момента, когда можно будет позволить огню ступить на один каслик дальше, а последний каслик оставить стынуть. Что он уже не первый год водит огонь по кругу, каждый день все вперед, так что закладчики внизу едва поспевают отступать перед огнем, подкладывая ему толщу сырого кирпича, а откатчики—с другой стороны—вывозить остывший кирпич из тех мест, где огонь уже прошел...

Следующий день был воскресенье. Пленные отлеживались в бараке и на солнышке, бродили по заводу, а между завтраком и обедом и обедом и ужином не забывали варить на печке добытую ночью картошку. Но в этот день они были более разборчивыми. Несоленая картошка, сваренная в ржавой воде из-под помпы, поедаемая вместе с шелухой, никому уже не приходилась по вкусу. Картошку чистили, мяли, солили и за водой ходили к колодцу. Кое-кому требовалась в котелок луковка. А были и такие, кто уже в этот день говорил, что картошка, хоть и соленая, и размятая, но ничем не сдобренная, не бог знает какое кушанье. Но таких людей было один или два на тридцать человек. Остальные и в этот день находили, что котелок картофельной тюри можно съесть с удовольствием в любое время, и продолжали думать так и потом, вплоть до того момента, когда крестьяне, напуганные ежедневными набегами, поторопились выкопать всю картошку и свезти ее с поля домой.

В понедельник на рассвете при торжественной обстановке прогудел гудок, молчавший несколько месяцев; с тех пор, как была снята с работ партия отпускных солдат, пришли местные рабочие, все эти месяцы пробавлявшиеся копанием глины; пан заржонца (управляющий), в военном мундире, построил

пленных в два ряда и произнес речь в том смысле, что, конечно, дело тут казенное, а москали люди наморенные и кормить их и платить им будут не бог знает как, что многого от них на первое время не требуется, но пусть панове москале все-таки мало-мало двигаются... Проявившие же усердие будут награждены особо... Пан Рыба, мастер, тут же отобрал двоих посильнее к машине, резать и откладывать четырех на месилку, пятерых в печку, остальных рассовал по стеллажам[1] и заставил гонять вагонетки, и повел все дело в таком темпе, что те, кто оказался у машины, не шутя радовались случаю, когда вместе с глиной в машину попадал обломок кирпича, которого она не могла разжевать, и дело на минуту останавливалось.

За этим днем пошли такие же другие, и так началась та самая разнесчастная военнопленная жизнь, которая богата и голодом, и вшами, и всяческой нищетой. И если иному и было за что помянуть ее добром, так разве за то, что тут он был не в тюрьме. Он ходил на свободе и за версту и за две, по своим делам, и если попадался полицейскому инспектору, то достаточно было сказать, что он с завода Ликана и его отпускали. — „Цо ты за еден?“ — спрашивал инспектор. — „С цегельни Ликанта“, — отвечал москаль. Инспектор смотрел и говорил: „Идь“. И на печке было много темных углов, где он мог по вечерам сидеть над касликом, думать и вспоминать.

Да и днем случалось ему забираться в такие места, куда не хватал глаз пана Рыбы, стоять и вглядываться вдаль, в туманные перспективы полей и контуры старого города за Вислой. И эти расплывчатые картины, порождение болотной равнины, очаровывали его своей печалью и красотой.

Вот черный купол костела и окна высоких домов блестят вдали под осенним солнцем и приковывают его взор... Вчера он стоял на этом же месте и не видел ни костела ни домов. Темная пасть железнодорожного виадука была тогда перед

---

[1] Стеллажи — стойки с рядами перекладин, на которые кладется свежий кирпич для просушки.

ним в этом месте, и в ней пропадали силуэты людей и возов. А еще через несколько минут за новой туманной завесой он уже не видит ни костела ни виадука. Солнце освещает обсаженную ивами дорогу с обгорелым домом в перспективе и группу мальчиков-пастухов около кучи тлеющей ботвы.

У него появляются привязанности в этих местах. Маленькая седенькая лошадка пана Хуся, ежедневно являющаяся щипать травку у стеллажей, делается объектом его нежности. Или это какой-нибудь синеглазый малыш, Стáшек или Янек, из бесчисленной детворы предместья. И в каком-нибудь из разбросанных по пустырям домиков у него заводится знакомое семейство. Живут здесь бедняки, люди с грубыми руками и простым сердцем, к зиме радующиеся тому, что день убывает, а к весне не менее довольные тем, что дни становятся дольше. И хотя он в сравнении с ними — отщепенец и нищий, эти люди часто смотрят на него не без зависти. Потому что он ни пред кем не ломает особенно шапки, а случается, подымает голову и совсем высоко, а они никогда не могут позволить себе этого и добывают пропитание изнуряющим трудом и рабской покорностью.

2

Странный народец подобрался работать у Ликана. Время было военное, все молодое и сильное служило в войсках, и Ликан обходился калеками, стариками и подростками, женщинами, хромыми, забракованными инвалидами.

Однако, забракованный в пяти комиссиях, суперарбитрированный, Жолнерчик, вывозивший кирпич из печки полной мерой, делал работу, которой не осилили и два молодых пленных, когда их поставили за его тачку.

Да и мальчики-подростки, перебрасывая кирпич по цепи, ловили сырые кирпичины налету, зажимая их двумя пальцами по одной на каждую руку, а у пленных от этого самого руки мгновенно уставали, и из трещин на пальцах шла кровь.

А что касается вагонеток, то одной силой их через дрейшайбы не протолкнешь, если не знаешь, где поднажать и

где поднаклонить, и первое время не раз случалось, что группа малышей, собравшись около какой-нибудь сошедшей с рельсов и застопорившей движение вагонетки, сначала долго и иронически наблюдает, как два рослых пленных выбиваются из сил, пытаясь на руках поднять вагонетку вместе с двумя сотнями кирпичей, а потом кто-нибудь из них скажет:

— Поцо сен пан так мордуе?

И покажет, что для этого достаточно повиснуть вдвоем на задней решетке так, чтоб передние колеса поднялись вверх, оттолкнувшись ногой о землю, повернуть передок в воздухе и поставить его на рельсы, — это делается легко, — а затем повиснуть на передке и проделать то же самое с задними колесами, и тогда вагонетка покатится дальше как ни в чем не бывало.

В первые дни нередко, хватаясь за скобу вагонетки, пленный обнаруживал, что она свеже вымазана вонючей колесной мазью, и в гневе он гонялся за разбегающимися перед ним малышами, держа наотлет выпачканные руки.

Случалось также, что, сняв с каслика свой котелок с разогретым супом и уничтожив содержимое, пленный на самом дне вылавливал камешек или кусок глины, подброшенный кем-нибудь из мальчишек, особенно Стасиком. Но однажды огромный ражий детина пришел на печку и показал пакостному Стасику свой кулак, самый большой кулак, каким располагали пленные, и Стасик стал пакостничать с большей осмотрительностью.

3

В первый же день работы пленные заметили на заводе одну странную фигуру — человечка неопределенного возраста, с обветренным безволосым лицом и неуловимым, не то дурацким, не то ироническим взглядом. Человечек гонял тачку от кучи угольной пыли к подъемной машине, ступал косолапо и должно быть не замечал, что штаны у него не застегнуты, а из полуоткрытого рта свисает слюна.

Он ходил и ходил взад и вперед с своей тачкой, ставил

пустую тачку под решето, несколькими взмахами лопаты наполнял ее пылью, отвозил к лифту и налегке возвращался назад. Но на двадцатом рейсе человечек почему-то замечтался. Он бросал и бросал на решето лопату за лопатой и не замечал, что тачка давно уже полна и по бокам ее на земле выросли два черных холма. Бросал и улыбался блаженно и изредка искоса оглядывал окружающих. Потому что, один за другим, люди останавливались, чтобы посмотреть на странное зрелище, и их набралась толпа.

— Ендрек! Ендрек! — кричали мальчишки, стараясь вывести его из рассеянности, и выходили из себя, потому что невозможно было долго выносить зрелище человека, нагружающего давно уже полную тачку. — Ендрек!..

Ендрек окидывал их блаженным взглядом и продолжал свое дело.

И потребовалось притащить камень и обрушить его в лужу около угольной кучи с таким расчетом, чтобы водой окатило Ендрека, и только тогда он пришел в себя, остановился и сейчас же покатил тачку к лифту. Глаза его бегали.

Притворяется Ендрек или нет? — вот вопрос, который интересовал пленных, да так до самого конца и остался нерешенным. Чорт его знает!

Вот он работает вместе с отцом, старым Свентеком, на глине. Пока Ендрек отвозит одну тачку, пан Свентек успевает наполнить другую. Работа некоторое время идет гладко.

Но вдруг Ендрек начинает дурить. Бросает тачку на полдороге, идет куда-то. Тогда пан Свентек догоняет сына и вразумительно, глядя ему в глаза, говорит:

— Хлóпак! Цього не зрóбишь — обяда ниц...

Ендрек хмурится, обдумывает угрозу, повидимому находит ее заслуживающей внимания и покоряется.

Такие перерывы в работе случаются несколько раз в день, и если дело происходит после обеда, пан Свентек обещает оставить его без ужина:

— Хлопак! Цього не зрóбишь, коляция ниц...

И всегда Ендрек покоряется.

И если кто из пленных наблюдает такие сцены с удивлением, пан Свентек говорит в объяснение:

— Не мае хлопак розуму... Мял хлопак розум, тераз не мае...

И рассказывает, как Ендрек лет пять назад заболел водянкой мозга.

Иногда Ендрек, обшарив себя со всех сторон, доставал откуда-то трубку, брал ее в рот и ходил посапывая, как настоящий курильщик, но в трубке не было никакого табаку. В лучшем случае у отца оказывался для него особый табак — тертый буковый лист.

За щепотку настоящего табаку Ендрек был готов на что угодно. Мальчишки за окурок папиросы заставляли его танцовать, топтаться на месте до изнеможения, учили пускать дым глазами, через уши. Убеждали его, что это у него отлично выходит.

— А ну, Ендрек, — говорили под конец, — пусти дым дупем...

Ендрек глотал дым, тужился и с осторожностью поворачивал голову назад, ожидая увидеть дым, выходящий сзади из-под фалдочек его куртки.

Известна была его манера никогда не уходить с завода с пустыми руками и унести хотя бы сноп соломы из конюшни, кирпич или какую-нибудь железку. Ночной сторож, огромный босняк, ежедневно нагонял его, отбирал похищенное, бил его наотмашь, а Ендрек кричал негромко и тупо, как кричат животные, когда чувствуют боль, но не знают, откуда она приходит.

Таким образом выходило со всех сторон, что Ендрек дурак, и правы те, кто говорит, что притворства в нем нет.

И однако случались факты, сильно противоречившие этому. Иной раз пленным, опоздавшим к обеду, случалось разогревать свои котелки на касликах, над огнем обжигальной печи, и иногда таких котелков, расставленных правильными рядами по числу отверстий, выстраивалось более десятка. И вот появлялся Ендрек с озабоченным видом по своему делу и смотрел на котелки искоса. Спустя немного он появлялся

снова с какой-нибудь доской, с жолобом, по которому спускали вниз кирпич и который ему почему-то требовалось перетащить через печь на другую сторону. Где-нибудь среди печки он обязательно натыкался на кирпичину, падал, доска с силой вылетала у него из рук и, описывая концами дуги, падала на пол, сшибая в огонь один за другим котелки.

И так ловко все выходило, что невозможно было предположить в его действиях расчет. Где было тут и самому тонкому глазу рассчитать, что упасть надо именно в этом месте и доску надо не просто выронить из рук, чтобы она тут же шлепнулась на землю, а с разгоном, чтобы одним концом она пришлась по котелкам справа, другим — по котелкам слева.

Москали, оставшиеся без обеда, конечно, выражали недовольство, и пан Свентек извинялся перед ними за сына. В другое время, говорил он, и если б у него было что-нибудь с собой, он предложил бы хлеба или картошки взамен обеда, но на сей раз просит его извинить.

— Тераз не маю хлеба...

— Ты, пан, никогда не маешь хлеба,— говорили москали,— ты бы где-нибудь достал...

Ендрек мог подолгу выпрашивать у кого что придется и особенно любил клянчить у пленных сахар. Он видел, как когда-то пленные тащили в барак котелки с красным конским сахаром, перекупленным на-ходу у других пленных, возвращавшихся под конвоем с работы в пакгаузах. Но так как дело было много времени назад и давно уже в пакгаузы не приходило вагонов с сахаром, сахара не было, и над ендрековыми просьбами смеялись. Однако Ендрек не верил никаким отговоркам и полагал, что если сахару нет сию минуту, то его дадут потом.

— Значит, вечером? — говорил он под конец. — Хорошо, я приду...

Являясь в барак, Ендрек делался центром общего внимания, танцовал, показывал свои штуки, пускал дым всеми отверстиями тела, и хотя в таких случаях он не выходил из круга праздно обступивших его людей, однажды случилось, что пер-

чатки и шарф из висевшего на стене пальто ночного конвойного после визита Ендрека исчезли.

Подозревали кого угодно и только после всех подумали о Ендреке, потому что уж очень ловко надо было работать, чтобы среди кучи людей, на глазах у всех утащить что-нибудь из того места, куда он и не подходил.

Два дня дело оставалось невыясненным, а на третий все видели, как пан Свентек с извинениями принес конвойному и перчатки и шарф. Но, конечно, вещи были разорваны и никуда уже не годились.

4

Был на заводе Ликана пан Кароль, дряхлый старик, пригодный лишь на то, чтобы стоять на куче накопанной глины и передвигать доски, по которым вкатывались тачки.

Он часами стоял на бугре, тепло одетый, неподвижный, глядел в туман выцветшими синими глазами и вдруг, когда всем казалось, что он стоя уснул, вздыхал под вой ветра громко и жалобно.

— О-хо-хо!..

И голос его, высокий и сбитый, выходил точно не из его глотки, а откуда-то на сажень сбоку.

Вообще жил пан Кароль не то на этом свете, не то уж на каком-то другом, был неразговорчив, так что очень удивил однажды всех присутствовавших, когда, сидя в неподвижности на печке и посапывая трубкой, в то время как какой-то веселый пленный заигрывал с подносчицей девушкой и почти было обнял ее, да она ускользнула, пан Кароль вдруг поднял голову, пошевелил скулами и явственно произнес несколько слов.

— Цо пан муви? — спросил пленный, наклонясь к нему.

— Тшимай ее...[1] — повторил пан Кароль, показывая на девушку, и что-то вроде осуждения за нерасторопность слышалось в его голосе. — Тшимай!..

---

[1] Хватай ее, хватай!

И в его выцветших когда-то синих глазах заиграл далекий огонек, показывавший, что если пан Кароль и многое в жизни позабыл, то от убеждения, что молодым парням надо „тшимать“ молодых девушек, не отказался и на восьмом десятке.

Над этим самым паном Каролем пленные устраивали иногда штуки. В полдень жена пана Кароля приносила ему обед. Это была крупная старуха с выпученными от какой-то болезни глазами и негнущимися в коленях ногами, отчего, когда она шла по улице, она походила на изваяние, передвигаемое на колесиках.

Встретив ее под брамкой,[1] один из пленных говорил ей, что пан Кароль ждет ее на печке.

— Чекáе на пáни на гýре...

В то же время другой докладывал пану Каролю, что его кобита[2] ищет его с обедом внизу.

— Под амбалем...

Пан Кароль тотчас же вставал, — весть об обеде взбадривала его, — и деловито спускался по винтовой лестнице вниз, а его жена в то же время по лестнице с другого боку подымалась на печку.

— Кобита! Кобита! — доносился снизу голос пана Кароля, негодующий и нетерпеливый.

— Я здесь, пане Каролю! Я здесь! — рычала старуха.

Опять с разных сторон появлялись люди с ложными донесениями и устраивали так, что подъем и спуск повторялись, но подымался на этот раз пан Кароль, а опускалась кобита с завязанной в тряпки миской в руках.

— Кобита! Кобита! — доносилось сверху глухо и тоскливо.

— Где же вы, пане Каролю? О, боже...

И так проделывали с ними еще и еще раз, пока наконец оба старика не запутывались окончательно и, отчаявшись найти друг друга, не присаживались отдохнуть. Тогда общими усилиями устраивали так, чтобы они наконец встретились,

---

[1] Дверка, проход в печку.
[2] Женщина, жена.

а встретившись, они сейчас же начинали ссориться и упрекать друг друга.

Но случилось однажды, что пан Кароль после четвертого путешествия опустился где-то около брамки на камень с таким старчески беспомощным вздохом и с такой тоской на лице, что видевшие его в этот момент решили, что таких шуток над стариками они больше не позволят. Среди них был как-раз человек с самым большим кулаком, и люди с кулаками поменьше приняли его слова к сведению.

Самый большой кулак поднялся в защиту кобиты пана Кароля еще при одном случае. Но это было уже много позже того времени, когда пленные только начинали жить да поживать в бараке у завода. Они уже не были тогда однообразным скопищем одинаково голодных людей, думавших только о пище. Между ними появились различия, и случалось, например, что во время обеда, при раздаче мясных порций, одному их попадало несколько, а другому ни одной.

— Шерешевский! — выкликал раздатчик, зацепив вилкой кусок мяса.

— Отдай Волчанину, — отвечал Шерешевский и не двигался с места.

— Безбабный! — после нескольких фамилий вызывал раздатчик.

— Отдай Волчанину, — отвечал Безбабный и не двигался с места.

Фамилии тех, кто отдавал кому-то порции, в другие мясные дни были иные, но отдавать надо было неизменно Волчанину, реже Слетинскому, еще реже Ковальчуку.

С порциями хлеба случались такие же перемещения. И всё это происходило потому, что Шерешевскому, Безбабному и десятку других нужны были деньги на табак, а Волчанин и Слетинский платили по две железных шустки за порцию. Избыток шусток у них объяснялся тем, что они были людьми особого склада, и в то время, как Шерешевский и Безбабный, покончив с дневными делами, залегали на нары или шли на печку к каслику греться и вспоминать родину, справедливо полагая, что они съели уже сегодня свою четверку хлеба и

до утра им ждать нечего, Волчанин, Слетинский и Ковальчук раскидывали умом, чтобы что-нибудь приобресть. Один собирал старые кожаные обрезки и переделывал их в самоновейшую обувь, другой открывал задние ходы к кучам каменного угля на станции, третий, проезжая по утрам с фурой кирпича через толчок, скупал по дешовке солдатское барахло, а к сумеркам подзывал тех же Шерешевского и Безбабного и отправлял их в ближайшие деревни, ходить с барахлом по домам.

Давал одному штаны и говорил:

— Принеси двенадцать корон. Что больше — твое.

Давал другому шинель и говорил:

— Принеси двадцать восемь корон. Что больше — твое.

Шерешевский и Безбабный с воодушевлением брались за дело, обходили деревни из дома в дом. Но всегда оказывалось, что за штаны давали именно двенадцать корон, а за шинель двадцать восемь и ни шустки больше. И Шерешевский и Безбабный были рады, если им удавалось выторговать впридачу кусок хлеба или набить карманы картошкой.

И так оно повелось во всем, и если случалось, что в праздник являлся конвойный и предлагал желающим итти в город строиться, то чистились и строились все те же Волчанин, Слетинский, Ковальчук и еще человек с пяток, а Шерешевский, Безбабный и остальные не строились никогда. Потому что приглашение в город означало захождение всей командой вместе с конвойным в „купплерай“, в солдатский дом терпимости, и предполагало наличие у входящего трех корон в кармане. Без них строиться было незачем.

Волчанин считался в трех тысячах, Слетинский в четырехстах, Ковальчук в полутора сотнях, остальные по нисходящей — семьдесят пять, сорок, двадцать пять, десять, ноль.

Ковальчук деньгами не дорожил, потому что легко добывал их, похищая уголь со станции. Ставил под виадук пустую фуру, оставлял внизу помощника, залезал на пути, сбрасывал вниз угля сколько мог увезти, сгружал в бараке под нары и давал знать населению, что получена свежая партия угля для продажи. Население являлось с мешками, торговалось и

платило деньги. Было правилом в ответ на заявленную цену давать ему ровно половину и затем медленно по шусткам прибавлять.

Забрела однажды в барак и негнущаяся кобита пана Кароля. Назначили ей за ее мешок цену в семь корон. Как и все, кобита стала считать в уме, сколько будет половина от семи, сосчитала с ошибкой и предложила три короны восемьдесят галежей.

Ковальчук, потешаясь, ответил, что уголь ему самому дороже обходится.

— Пани сама ве, як все дрого...

— Мувьте, москаль, цось инше,— сказала кобита жалобно,— не маем таки пенендзы...

Перебирая глыбы угля, Ковальчук наткнулся на матово-черный осколок какой-то породы, в пуд слишним весом и явно негорючий.

— Купуй, пани, цей кавалек...

— Вели це коштуе?

— Як пани не мае пенендзе, нех так визме... Дарую пани...

Кобита с выражениями благодарности и со слезами на выпученных глазах завернула в дерюгу подарок и двинулась к выходу. Пленные смотрели в окно, как она медленно уходила вдаль, как везомое на тележке изваяние, неспособная согнуться даже под пудовой тяжестью.

Ковальчук хохотал и оглядывался на окружающих, ожидая одобрения, но никто как будто не присоединялся к его смеху. Лучшие друзья смотрели сдержанно, опуская глаза, другие глядели с откровенным упреком. Ждали, чем кончится дело. Чувствовали, что не может же остаться так, как оно есть, что старая женщина действительно потащит за несколько верст надрываясь кусок ненужного ей камня, а мордатый Ковальчук будет лежать на нарах и хохотать. Но молчали. Не то чтобы боялись подымать ругань с Ковальчуком, но не было в бараке в обычае делать друг другу замечания.

Кто-то выскочил на порог и закричал старухе вдогонку:

— Выжучь, пани, цей кавалек!.. Он не бенде сен пáлил!.. [1]

---

[1] Выбрось пани этот камень! Он не будет гореть.

Но пани заворачивала уже за угол и ничего не слышала.

И тут человек с самым большим кулаком наклонился над кучей Ковальчукова угля, отобрал несколько полновесных блестящих кусков и поманил веселого москаля пальцем.

— Беги, догоняй, — сказал он ему кратко и выразительно, заворачивая уголь в тряпку. — Живо...

— Что такое? — опешил Ковальчук, меняя веселое выражение лица на надменное и удивленное. — Новое дело...

— Ну...

И самый большой кулак так внушительно поднялся в воздухе, что Ковальчук как-то очень быстро поднялся с нар и, захватив уголь, бросился догонять старуху.

Когда через четверть часа он вернулся в барак, запыхавшийся и молчаливый, все казалось уже забыли о происшествии. Шла раздача обеда, спрос на мясные порции вызвал предложение со стороны тех, кто нуждался в шустках на табак, и случилось, что как-раз человек с самым большим кулаком, в обычном состоянии безобидный пленный без гроша за душой, продал свою порцию Ковальчуку. Все шло, как оно было заведено.

5

Так шло время, и после приезда пленных огонь уже три раза обошел печку по кругу и начал четвертый оборот, но пленные знали, что он скоро потухнет. Потому что начались холода, глина замерзла, машина со снятыми приводными ремнями в бездействии стояла в заколоченном машинном отделении. И хоть в разных углах завода было достаточно сырой пищи, чтобы закладывать толщу перед наступающим огнем, но уже близок был день, через какие-нибудь три недели, когда в пасть печки оставалось загнать последнюю вагонетку полувок и затем перестать сыпать уголь сверху. И тогда огонь начнет тухнуть. А еще через десяток дней остынет последний слой обожженного кирпича, и тогда, как ни открывай каслики, ниоткуда не потянет теплом.

Тем приятнее сидится на печке теперь, когда под касликами еще бело от ослепительного огня и от остывающих кирпичей идут струи тепла.

Пан Ледийский приходит с холоду, не глядя подсовывает под себя пару кирпичей и протягивает руки к теплу.

— Не бéнде венцей тéпла... — говорит он раздумчиво и оглядывает компанию. — Не бенде...[1]

Пан Кароль, дремавший с трубкой, неожиданно подает голос.

— А цо пан мыслил? — спрашивает он своим сбитым, идущим из другого угла, голосом. — Пан мыслил, же зимы не бенде? Бенде зима... бенде... Юж пшишла.[2]

Пакостный Стасик, мученик контрольных часов, умеющий спать и каждые четверть часа просыпаться, осмотреть каслики, подбросить пыли, спросонок поиграть на гармонике, которая всегда с ним на печке, и заснуть снова — в темноте подбирает на гармонике какой-то мотив, напевает. Голос у него скрипучий, но мотив он находит верно... И если посмотреть на него в этот момент, можно не узнать в разнеженном, размягченном музыкой мальчике того оголтелого Стасика, который поклялся в вечной вражде к москалям и тайком плюет и подбрасывает грязь в москальские котелки...

Мотивы, которые он напевает, все идут от Зоськи, подносчицы-девушки, о которой ее собственная мать совершенно напрасно говорит:

— Моя Зоська глупа як бут...[3]

Откуда берет свои песни Зоська — неизвестно — с улицы, из „Курьера“, но у нее их множество.

На Баторéго, чи вы слушите,
Пшед трибуналем Левицкий стал.
Он своей коханне одебрал жича...

---

[1] Не будет больше тепла! Не будет.

[2] А что пан думал? Что зимы не будет? Будет зима, будет! Уже пришла.

[3] Моя Зоська глупа как сапог.

А на другой день она на тот же мотив будет петь куплеты об убийстве в улице Блиха.

Шпацеровáли... Улица Блиха...
Он ест понурый, а она тиха...
Шпацеровали, ниц не мувили,
Бо богатеми быть нараз хцяли...
Капелюш новый...

Давно было дело, когда судили Левицкого, застрелившего свою любовницу, много лет прошло после происшествия в улице Блиха, где ради новой шляпки было совершено убийство, но Зоська все еще поет их, чередуя с песенками о возлюбленных и братьях, ушедших служить в легионы к Пилсудскому.

Она ему ля-ля-ля-ля...
Она его ля-ля-ля-ля...
До польскéго войска послалá...

У выступа под лампочкой сидит Владимир, самый грамотный из пленных, и читает „Реформу". Странный человек этот Владимир. Ободранный, слабый, беспомощный в работе. Товарищи, посмотрев его работу, говорят ему не всегда добродушно:

— Тебя бы, Владимир, женить...

Ни к чему у него нет дара. Он умеет только читать газеты, но это он уже действительно умеет. Отбывал плен в Германии, приспособился читать немецкие газеты, попал в Венгрию — стал разбирать по-мадьярски. А уж после мадьярских газет читать польские газеты, где половина слов понятна, для такого человека были пустяки.

И таким образом случилось, что москаль, несколько месяцев назад не знавший ни одной польской буквы, понемногу приспособился читать „Реформу", и чтобы достать деньги на эту газету, ему не всегда требовалось продавать Слетинскому свои мясные порции. Случалось, что ее приносили ему уже купленной постоянные обитатели печки — Лединский, Печик или босняк. Приносили для того, чтоб он почитал ее им, потому что сами они не умели читать.

Москаль читал им о разных вещах, и они внимали ему, как внимают старые люди печатным словам, почтительно, покачивая головой. Но в один из январских вечеров он прочел им несколько слов, и его голос прозвучал неуверенно и дрогнул от волнения. В заголовке газеты стояло: „Русский фронт — завешене брони“, что значило перемирие.

— Завешене брони! — воскликнул босняк, и его совиные босняцкие глаза просветлели. И пан Лединский вскочил с места, хлопнул себя по ляшкам и снова сел, взволнованный. И пан Кароль проснулся и закивал головой. И хоть все скоро успокоились, потому что знали, что такие дела делаются не скоро, казалось, точно какая-то стена разошлась перед ними, и в просвет что-то стало видно.

С другого конца печки к компании подошел москаль, товарищ Владимира, привлеченный шумом и восклицаниями, и спросил, в чем дело. Но когда ему прочли то, что стояло в газете, он не стал веселее.

— Все врут, — сказал он с убеждением. — Обманывают солдат, чтобы шли на фронт...

И он не без превосходства посмотрел на Владимира, который мог верить всяким россказням. И Владимир не нашелся, что ответить.

Да и чего было спорить? Один всему верит, другой не верит ничему, но все равно оба они, как были так и есть, разнесчастные москали, при виде которых бабы на базарах плачут и которые уже съели свою четверку хлеба на сегодня, и им нечего ждать до утра. Остается сидеть на печке и думать о родине. А думы у каждого свои...

И он снова пристраивается к лампе и отыскивает в газете все новые и новые приятные вещи, а тот, который ничему не верит, отходит в темноту. Его больше привлекает пение, доносящееся снаружи.

Это смена девушек-угольщиц идет с железной дороги через пустыри по домам, и в тишине вечера их пенье слышно отчетливо.

От Кракова дуе вятер,
Дуе вятер, дуе вятер...

Так же с пением они проходили вчера. Но вчера они пели другие слова:

От Кракова еде рыцарь,
Еде рыцарь, еде рыцарь...

Среди них стройная Анка и Зоська с белой полосой зубов на перепачканном лице.

И пленный колеблется. Можно, конечно, сбежать вниз навстречу девушкам, но не хочется выходить на холод. Притом девушки с угля любят обнимать и целовать тех, кто им встретится, хотя бы даже тот и не очень добивался их ласк. Они любят делать это потому, что после их объятий на лице и на платье остаются черные, долго неотмываемые следы. И от этого бывает много смешных историй. Дома каждую из них ждет котел горячей воды для умыванья и чистое платье, и только тогда из-под слоя угольной пыли выходят на свет веселые лица красавиц.

Проснувшийся Стасик, уловив мотив, пытается повторить его на гармонике. Голос его скрипит. Он обегает с совком каслики и бухается на землю снова.

Читатель газет прячет газету в карман и спускается через дворик в барак. Он полон светлого чувства, но молчит. Ему мало кто верит, когда он объявляет газетные новости. Однако, раздевшись и устроившись на нарах, не выдерживает и между прочим, как о чем-то маловажном, сообщает соседу, что война как будто уже кончилась.

Сосед слушает, чешется и закрывает глаза.

— Что ж, — говорит он, зевая, — все может быть... Пора... пора...

6

Самые холода начались в феврале, и уже нечего стало работать на печке. Пленные ходили теперь за несколько верст на прокладку рельсового пути от карьера.

Пан Печик утешался тем, что дни все-таки прибывают.

Самый грамотный пленный также утешался тем, что дни

прибывают. С тех пор как он попал в плен, каждую зиму ему казалось, будто он засыпает, что зимой ему нечего желать, а нужно днем двигаться и делать что-нибудь, чтобы не умереть, а ночью думать о том, что будет весной, когда он отправится в побег. Но и мечтая, он никогда не забывал, что все это относится к временам, которые еще будут когда-то, а сейчас ему надо молчать и покоряться...

Но когда дни становились длиннее, а закаты ясными и долгими, пленный начинал чувствовать, что его время приближается. Это входило в него вместе с чириканьем воробьев в тот день, когда солнце вдруг пригревало, и начиналась оттепель, он убеждался в этом, увязая деревянными подошвами башмаков в грязи размытых полей. И очень скоро наступала пора, когда ему становилось уже невмоготу ждать, и он назначал себе день для решительных действий. Маленькая карта, вся Австрия на восьмушке бумаги, была теперь с ним неразлучно, и ее он разглядывал, когда оставался один, потому что это была его тайна, о которой он никогда ни намеком не говорил никому.

Каждую весну происходили с ним такие превращения. Но в эту весну, кроме того, случались вещи, непохожие ни на что, к чему он привык за четыре года плена. Случались поблизости, задевали пленных краешком, и хоть крепкие были люди москали, никаким газетам не верили, однако и они призадумались. Свое будущее представляли они себе примерно в таком порядке. Будет когда-то заключен настоящий мир, и поедут они домой эшелонами, на сто солдат один прапорщик, а на границе будет стоять человек со списком, спросит, как фамилия и какого полка, посмотрит в список, и кто честно попал в плен, пропустит, чтобы на месте явился воинскому начальнику, а перебежчиков, всех унтер-офицеров, фельдфебелей и повыше — тут же к суду. А потом поедут они скорыми поездами по России и в Сибирь, где хлеб стоит копейка фунт, к женам своим, все четыре года беспорочно их ожидавшим.

И вдруг оказывается, что мир уже заключен. Но он не то есть, не то нет. В газете фотография — русские предста-

вители в Брест-Литовске, какие-то штатские люди в пиджаках. Что же это такое? И кое-кто из пленных австрияков вернулся домой из России и говорит, что действительно царя уже в России нет, и Киевская губерния уже не Россия, а Украина... До Сибири, говорят, хоть год скачи, не доскачешь. А что касается хлеба, то он тоже стоит много больше чем копейку...

А тут как раз является в барак штабной писарь для составления списка пленных и уже при входе командует — русским стать налево, а украинцам направо. И так как все говорят, что они русские, писарь долго и путанно разбивает их по губерниям и говорит, что те, кто из Полтавской, Харьковской и тому подобных губерний, как-раз и называются украинцами.

Загадочно, непонятно — так непонятно, что лучше и не думать об этом, пока не узнаешь точно.

В городе изо дня в день события. Поехал как-то Ковальчук к виадуку за „получением“ новой партии угля, не подпустили к мосту часовые. На путях стрельба.

— В чем дело?

— Легионы бьются с пруссами...

И опять день-два тихо. А на третий какой-то человек, проходя вблизи барака мимо казенной табачной трафики с австрийским гербом на желтом поле, стал что-то с вывеской делать. Он попробовал достать ее с земли рукой — не достал, зашел в лавочку, вынес стул и взобравшись на стул сорвал вывеску с петель. Стул он обратно внес в лавочку, а сам пошел дальше, оставив вывеску лежать на земле.

А вечером в тот же день Янек с месилки с одушевлением рассказывал на печи, как он ходил по городу с толпой людей и что они пели, и как они устроили, чтобы свалить двуглавого орла с дворца наместника. И его синие мальчишеские глаза блестели.

Пан Печик слушал раздумчиво.

— Иезус-Марья! С палацу штатгальтера?

А потом, разошедшись, неожиданно вспомнил что-то из своей молодости, когда он тоже ходил по городу, когда

Дашинский устраивал забастовки, и как Дашинского полиция не могла арестовать, потому что он был депутат, и он ходил с завода на завод, и пан Печик ходил вместе с ним.

— И мы пели тогда... — продолжал он с помолодевшим лицом, стараясь вспомнить, что он пел, когда ходил с Дашинским, и не мог вспомнить ни слов ни мотива.

— Я не помню, что мы пели тогда, — сказал он беспомощно, — но это было что-то такое хорошее...

А еще через день стало известно, что будет „генеральный штрайк" — всеобщая забастовка на половину дня. И хоть на поверку вышло, что бастовали только поляки и только для того, чтобы начальство не отдало Украине бывшей русской Холмской губернии, а во главе забастовщиков стояли ксендзы и чиновники, — пленные с удовольствием следили, как в этот день пан Рыба, чисто одетый, прошел мимо завода и, не заворачивая в ворота, пошел в город, как туда же пошли и Лединский, и Печик, и все другие. И все были чистенькие и торжественные. И ни одного полицейского не было в этот день на улицах.

На следующий день все работали, как обыкновенно, и полицейские патрули ходили по улицам, и желтая вывеска снова висела над трафикой, хоть и с залепленным бумагой орлом. И все было бы, как всегда, если б не маленькое происшествие на заводе Ликана, для расследования которого туда являлся и полицейский инспектор и военное начальство.

Как-раз в день манифестации, когда все поляки ушли на площадь, пленные решили, что и им тоже нечего работать, а надо постирать белье. У каждого была только одна смена белья, почерневшая от частого кипяченья, с приварившейся неотмываемой грязью. А чтобы приготовить щелок, поставили на каслик большой металлический наглухо закупоривающийся бак, в котором обыкновенно им из города возили пищу, и поручили самому грамотному пленному смотреть, пока вода закипит.

Самый грамотный был занят чтением новостей. Он упустил из виду, что если оставить воду кипеть в наглухо закупоренном сосуде, может произойти несчастье. Он сидел в сто-

роне и читал газету и не замечал, что две фигуры в это время подкрадываются к клокотавшему баку, чтобы устроить какую-то штуку. Это были пакостный Стасик, оставшийся на печке за пана Печика, и дурачок Ендрек. Они крались потихоньку, оглядываясь на москаля, а Стасик уже держал в руках кучу грязи, чтобы швырнуть ее в бак, и показывал Ендреку, где надо отвернуть, чтобы крышка открылась...

Если б, начитавшись газеты, пленный вздумал сам отвернуть крышку бака, то, конечно, паром ошпарило бы его. Но он читал и ничего не замечал, а с крышкой в это время возились Ендрек и Стасик. И когда остался последний оборот винта, крышка с шумом откинулась, и вырвавшимся паром их ошпарило. Падая, они опрокинули на землю весь бак, и кипяток полился на них же.

Когда на их вопли сбежался народ, увидели, что Стасик с криками и стонами бегает без толку по печке, отряхиваясь и сдавливая грудь руками, а Ендрек лежит без движения лицом вниз и молчит.

К вечеру Ендрек умер. Стасика свезли в больницу. О происшествии было написано с десяток протоколов, каждый раз выстраивали, опрашивая о подробностях. Искали злого умысла.

Стасик вернулся на завод только через полтора месяца, исхудалый, бледный, притихший. Гонял вагонетки и не ходил на печку.

— Ну как, Стасик, — спрашивали его москали, заметив происшедшую в нем перемену, — раскаялся?

Пленного, читавшего газеты, в это время уже не было на заводе. Недели за три перед этим он пустился в свое давно задуманное путешествие. Конвойный как-то сказал команде, что пришел о нем запрос из Лемберга, где его словили, но так как о всех беглых москалях говорилось, что их словили в Лемберге, этому мало кто верил.

ВЕНГРИЯ

Венгрия, октябрь, 1918

1

Около той поры я задумал пробраться на Будапешт, к старому хозяину. Боялся дороги. В Тапольце вокзальный жандарм уже раз говорил мне: „Больше сюда не приходи". В Коморне была крепость-могила, и я уже сидел там однажды, а о Капошваре от товарищей слышал, что тамошний комендант беглых пленных не милует.

Однако двинул. Дорогу знал: вдоль подъездных путей, пока не выйдешь у озера на главную ветку. Была у меня и карта, но она только сбивала с толку. Читаешь по-немецки Платензее, а мадьяры то же самое называют Балатон; написано Рааб, приходишь в Дьер, и так во всем. По путям итти было то преимущество, что не нужно никого спрашивать о дороге, а для меня чем меньше разговоров, тем лучше.

Ночи в октябре холодные, спать не приходилось. Спал днем, на солнце, пока грело, недолго, по нескольку раз, вставал и снова шел. На полях местами трепалась кукуруза, желтая, твердая, с лошадиный зуб, которую сырьем не станешь есть ни с какого голоду. Виноградники всюду охранялись. Хлеб свой я съел в первый же день. Оставалось есть ягоды терновника и боярышника да разбивать камнями персиковые косточки, которые после прохода поездов валялись вдоль всей линии.

Месяц назад я также шел вдоль путей в другом месте, но тогда по откосам росла ожина, сияло солнце, и я тогда еще не оставил манеры сворачивать время от времени в деревни

за хлебом и супом. Пленным, бредущим неизвестно куда, в деревнях не отказывали в пище: мне случалось даже видеть людей, которые принимали меня как гостя, сажали в кресло и заводили со мной разговоры, давая мне понять, что я такой же человек, как они, но только попал в беду. У таких людей я чувствовал себя не на месте. Мне казалось более подходящим, если мне с умеренно дружелюбным видом давали кусок хлеба и замечали при этом ворчливо: „Сколько, однако, развелось этих пленных! Почему не сидите в лагерях? Почему не идете работать?"

Эти визиты в деревни кончились тогда печально, потому что в деревнях трудно избежать встречи с полициантом, человеком с черным пером на шляпе. Я был арестован и отправлен в лагерь. Это была томительная задержка, которая отодвинула меня в моих планах назад, и теперь я предпочитал голодать, но никуда не заходил.

Мне некуда было торопиться, но я шел день и ночь почти без остановок. Я был голоден, слаб, меня качало ветром, озноб иногда валил меня с ног. Я знал, что без пищи мне долго не продержаться, но когда вечером где-нибудь поблизости от дороги показывались огни и слышались людские голоса, я убеждал себя, что я успею и завтра сходить в деревню, что сегодня нет еще большой надобности. Меня самого удивляло при этом, что я так легко соглашался со дня на день откладывать момент насыщения: не был ли я истощен до такой степени, что мне уже было не до еды.

Я не помню, чтобы какое-нибудь из моих странствований было таким печальным. Однажды я так устал, что уснул на полотне, положив голову на рельсы, смутно утешая себя перед тем как уснуть догадкой, что поезда по этой линии ночью не ходят.

Я помню встречу глубокой ночью с человеком, идущим по полотну, в час луны, холодного тумана и огромных теней от межевых тополей. Сойдясь, мы останавливаемся, потому что людям, столкнувшимся в четыре часа ночи на узкой полосе, нельзя пройти мимо друг друга просто так. Я замечаю, что у него тяжелые, подкованные сапоги, что он должно быть

железнодорожный сторож, но мне нельзя особенно его разглядывать. Воротник моего пиджака поднят, я придерживаю его у горла подбородком и мне не хочется подымать голову. Я стою против него молча, как остановился бы перед опущенным шлагбаумом.

— Так вот оно что,—говорит он вдруг, разглядев меня, и голос его звучит глубоким участием.

— Так вот оно как,—повторяет он еще раз и качает головой. Он сует руку в карман, достает горсть скрюченных табачных листьев и дает мне. Когда он трогается дальше и исчезает в тумане, я смотрю ему вслед. Мне жалко самого себя до слез.

Я помню также, как однажды на рассвете я стоял около куста терновника и рвал синие влажные ягоды. Я не мог съесть их больше двух, но почему-то продолжал обрывать ветку. А по другую сторону куста стояли два мадьярских мальчика, шедших на виноградники, с кривыми ножами в руках, и рассматривали меня с пристальным интересом. Я достал бумажку и табак и негнущимися, замерзшими пальцами пытался скрутить папиросу, но ничего не мог сделать. Один из мальчиков взял у меня табак из рук, сделал что надо и сунул свернутую папиросу мне в рот. Все время он смотрел на меня широко открытыми глазами. Он нерешительно спросил меня о чем-то по-мадьярски, кажется он упомянул слово: хлеб. В другое время я отлично объяснился бы с ним на его языке. Сейчас я не мог вспомнить ни одного мадьярского слова. В углах глаз я чувствовал что-то лишнее и жесткое: это были застывшие слезы, выжатые ветром, холодом и печалью.

Один встретившийся мне отпускной солдат, довольный, поющий песни человек, остановил меня, чтобы отдать мне остатки хлеба из своего мешка. Он был почти дома, и хлеб не был ему нужен. Я взял хлеб, как нечто очень ценное, сейчас же поднес его ко рту, чтобы тут же съесть, но мои челюсти оставались вялыми и не сжимались. У меня не было никакого желания есть, и в удивлении я стоял перед солдатом, опустив руку с хлебом книзу.

— Эге,— сказал солдат, наблюдая меня.— Твое дело плохо. У тебя шпаньоль.[1]

В Капошваре я ослабел и пошел ночевать в солдатский третий класс. В буфете уборщиком служил пленный татарин. Я спросил его, будет ли ночью облава? — Кто его знает! — ответил он: — она бывает не каждую ночь.

Однако облава была, я был задержан и ночью вместе с несколькими дезертирами и сомнительными отпускными солдатами отправлен в город к коменданту, где нас посадили в подвал на цемент.

— Теперь нам крышка,— сказал дезертир.— Два дня не дадут есть, два дня не пустят в отхожее. Я здешние порядки знаю.

В полдень, однако, нас поставили на рапорт к коменданту. Когда дошла очередь до меня, унтер-офицер изложил мое дело. Я сам забыл, что я говорил при аресте и какой фамилией назвался, и теперь был рад узнать, что меня зовут Сидоров, что я из Эстергома и направляюсь в Темешвар, по той причине, что давно не имею известий из России о матери и надеюсь узнать что-нибудь о ней от моего двоюродного брата, тоже пленного, работающего в Темешваре. Я ждал шпанок за эту трогательную историю, но комендант только сонно показал рукой, чтобы меня куда-то отвели.

— Скоро их всех к чертям,— шепнул мне дезертир, блестя глазами и сохраняя неподвижное лицо.

— Кого к чертям? — спросил я.

— Лейтенантов, обер-лейтенантов, ритмейстеров, оберстов,— не двигая губами и с явным удовольствием перечислял дезертир.— Всех к чертям, как в России...

Место, куда комендант сказал отвести меня, было бюро военнопленных, откуда хозяева брали их на работу. Никто из хозяев не пришел в бюро, пока я сидел там, да и меня все равно никто бы не взял. Здесь не было часовых. Я ходил по двору, стоял на улице, мог бы уйти совсем, если б была охота.

---

[1] Испанка.

— Ты пойдешь назад к коменданту, — сказал писарь, выходя к сумеркам из канцелярии. — Мне некуда тебя девать.

Воспоминание о цементной камере испугало меня, и я всеми силами стал доказывать, что мне незачем туда итти.

— У меня шпаньоль, — спохватился я, вспомнив, что говорил солдат, — отправьте меня лучше в госпиталь.

Все русские пленные считались тогда подозрительными по испанке. Писарь не был удивлен и без спора дал мне препроводительную в госпиталь. Я ушел от него счастливый, с перспективой ночлега в постели. Пленный итальянец должен был показывать мне дорогу.

„Мне напрасно ругали Капошвар, — думал я, в возбуждении шагая к госпиталю на окраину, — здешние унтер-офицеры очень милые люди и пленные здесь ходят без конвоя...“

2

Шпаньоля однако у меня не было. Пройдя в приемной мимо доктора, который кивком дал понять, что я принят, постояв у окошечка, где давались талоны в баню и на довольствие, выкупавшись в ванне в одной воде с каким-то другим человеком, сдав платье в дезинфекцию и получив в обмен короткие банные сподники и рубашку, только что снятую с себя госпитальным капралом (мне еще никогда не приходилось надевать рубашку с тела на тело, и я сделал это не без колебаний, банщик же видел гордыню в том, что я медлил надеть на себя рубашку после т а к о г о человека), отыскав в темноте барак с требуемым номером и добравшись наконец до постели, покрытой к моему удивлению совершенно чистой простыней, я уснул мгновенно и на много часов, а когда проснулся, был бодр, весел, хотел есть и едва угомонил свой опустевший желудок несколькими мисками супа, — своей и теми, что стояли нетронутыми на столиках соседей, справа и слева. Они были по-настоящему больны и не могли есть.

Впрочем, всех испанских больных в тот же день перевели за проволоку, в заразные бараки. Вместе с ними ушла наполнявшая барак атмосфера вздохов, томления и бессилия. Тон

барака поднялся. Оставшиеся здоровые почувствовали себя уютно среди своих, сдвинулись к одному месту и решили, что если дело обстоит так, то госпиталь как-раз подходящее место для людей, которым надо как-нибудь перебиться до поры до времени.

Был когда-то в бараках порядок. Больные лежали по своим местам, с температурными листками над головой; им ставились градусники, их лечили, выписывали, а коменданты бараков, из пленных, годами выслуживавшиеся на этих должностях, ежедневно обходили кровати, считая простыни и диэты.

Если б такие порядки завелись у нас, мы бы нашли их стеснительными и наверное все бы разбежались. Мы жили много веселее, переписали на себя порции какао и колбасы, выписанные когда-то для каких-то больных, которые или умерли или уехали, доставали платье и ходили в город и смотрели на госпиталь как на место отдохновения.

Доктор к нам не ходил. В лучшем случае давал в дверях коменданту две стопочки порошков, от кашля и от головы, и шел дальше. Комендант входил в барак, повторяя: „Эти от кашля, эти от головы“. Но так как порошки были в одинаковых бумажках, неизменно случалось, что, дойдя до своего места, он уже не мог с уверенностью сказать, в левой ли руке у него лежат порошки от кашля, а в правой от головы, или наоборот, и чтобы не напутать, складывал их в столик около кровати со словами: „Чорт их там разберет!“

Комендантом у нас был Васька Шашел, очень длинный молодой человек, своим видом возбуждавший во многих веселье. Старые коменданты-служаки, помнившие и эпидемии и бунты, к тому времени повывелись. Комендантами делались кто хотел, а Васька как-раз был одним из таких желающих.

Его главным занятием было следить за исправностью трубы в отхожем месте, к чему он относился с жаром; кроме того он должен был сообщать в батальон число слабых и общих порций и следить, чтобы ординарцы по дороге с кухни не слишком много вылавливали из мисок мяса. Он любил также по временам обходить барак и делать по разным поводам выговоры, но если замечал, что с какой-нибудь кровати бес-

следно исчезла простыня, или видел, что кто-нибудь греет кофе на щепках от стенного шкафика, он не подымал большого шума, справедливо полагая, что, если от него потребуют отчета в инвентаре, он всегда успеет удрать. Итальянцы в своем углу вообще не признавали Ваську и говорили, что итальянцы сами все коменданты...

— Italiani tutti commandanti...

Ваську возмущала итальянская манера спать, накрывшись одеялом с головой, но выставив наружу босые ноги. Он советовал итальянцам и даже приказывал им подражать русским, на половине которых как-раз все ноги были спрятаны, а головы торчали наружу. И однажды, когда Васька мимоходом пощекотал чью-то выставленную на перекладину, выпиравшую из кровати пятку, произошла бурная сцена, кончившаяся для Васьки афронтом, потому что итальянцев было много, а из русских за Ваську не вступился никто.

Васькина комендантская кровать, с двумя простынями и пушистым одеялом, была первой от входа у боковой стены. С другой стороны такую же кровать занимал переводчик Арнольд Выдревич, приказчик из Гомеля, в свое время не подозревавший, что есть на свете мадьярский язык, а теперь делавший карьеру на переводах с русского на мадьярский. В городе у Арнольда была невеста-мадьярка, и он подумывал совсем обосноваться в Венгрии.

Арнольд жил с фасоном. На столике около его кровати лежал французский самоучитель Грооса, а в столике была склянка коньяку, без которого он чаю не пил. Самые чаепития совершал с невиданным в бараке шиком, выкладывая на стол салфеточку, ситечко, ложечку и даже подстаканник. По-русски он говорил то как следует быть, то подражая мадьярам, для чего повышал и понижал голос там, где не требуется, спотыкался, частил, отчего русские пленные, имевшие надобность в его переводах, находили, что он валяет дурака.

Этот самый Арнольд не шутя считал себя среди нас как бы оазисом в пустыне, хотя в бараке было немало хороших парней. Его не любили. Васька даже откровенно радовался его огорчениям, которые заключались в том, что Выдревича

не признавали на кухне и не давали ему к обеду ничего лишнего, ни компота, ни какао, ни бисквитов. Между тем госпитальный сапожник, да и многие из нас нередко приносили с кухни и то и другое.

Другое огорчение Выдревича, которое он не скрывал, касалось его невесты: она была очень нежна с ним, а он охладел к ней.

Дальше была кровать Василия Васильевича, немолодого почтового чиновника, нос которого представлял для всех загадку. Посредине носа была впадина, и никто не мог сказать с определенностью, было ли это следствием сифилиса или же Василий Васильевич с таким носом родился. Он служил курьером у каптенармуса, бегал по городу с поручениями, добывая деньги продажей случайных вещей из цейхгауза. Деньги все ухлопывал на ром и палинку, но пить старался не при всех, а по темным углам, за дверьми, для чего иногда неизвестно почему вдруг выходил из барака и через минуту возвращался немного более красный. Его кряканье и жест, с которым он при этом оглаживал свои густые усы, всегда казались мне удивительно знакомыми. Это был типичный запойно-пристойный провинциальный чиновничий жест.

Через кровать от Арнольда лежал бледный юноша с повязанной головой, доставленный в госпиталь из имения одной важной провинциальной дамы. Юноша был любовником этой дамы и за это поплатился разбитой головой. Рана была неглубокая, но от нее часто болела голова. Арнольд писал для него письма к даме в имение: „Илонка, пришли чего-нибудь сладкого". Он был простоват и с завязанной головой походил на бабу, так что, когда он рассказывал о своей Илонке, на лицах слушателей, кроме зависти, появлялось и легкое удивление, что такие вещи случились именно с ним. Васька, больше других зажигавшийся от таких разговоров, даже вслух удивлялся, что вот с ним, с Васькой, за все четыре года не случилось ничего подобного, а такой маруде повезло...

Юноша был обладателем золотых часов и массивного золотого кольца. Арнольд старался перетянуть это кольцо

к себе, предлагая в обмен свое маленькое колечко и уверяя, что в нем золота на поверку выйдет больше. Разговор об этом велся ежедневно с упорством и настойчивостью.

Дальше стояли кровати двух юных итальянцев. В барак они приходили только ночевать, а днем работали в городе на кухне большого ресторана, около вина и мяса, среди женщин и суеты. Иногда они с увлечением рассказывали товарищам о необыкновенных вещах, которые им там случалось есть. Каждое утро после пробуждения они разыгрывали легкую комедию, побуждая друг друга вставать: тот, кто только что выражал решимость встать, неожиданно опять поддавался сну, а тот, кто просил дать ему поспать, вдруг исполнялся бодрости. Это была игра, кончавшаяся смехом, после чего они вскакивали в одно время и, одеваясь, для бодрости пели. Их любимая песня была с припевом: „Voglio morire che tan soffrire", что значило: „Лучше умереть, чем так страдать", и вызывало улыбку у тех, кто сравнивал грустное содержание песни с их пухлыми лицами, на которых из-под печальной мины, требуемой песнью, сами собой пробивались веселые полудетские улыбки.

Еще дальше лежал казанский татарин, свалившийся в трюм парохода в Фиуме. Кости у него были целы, но отбитые руки не действовали. По дороге из Фиуме он побывал в нескольких госпиталях, но всюду попадал в такие углы, куда доктора не доходили. Мне и другим приходилось поддерживать его, когда он ходил в уборную, и во время обеда кормить с ложки, что было некстати, потому что в это время собственный суп стоял и стыл. Долгое время довольствуясь одной казенной порцией, он должен был бы пропасть. Он понимал это, но боялся доверить кому-нибудь деньги, висевшие в мешочке у его шеи. В конце концов он позвал меня и попросил достать из мешочка сто крон и не трогать остального. И хотя уже одна такая просьба была выражением большого доверия, он с тревогой косился на мои руки, пока я развязывал мешочек.

Присутствие этого беспомощного распластанного человека в бараке, в котором все были здоровы, казалось неуместным.

Васька откровенно старался спровадить его в другой барак.

— Скажи мне, наконец, что у тебя такое?—приступал он к нему, решаясь взяться самому за его лечение. — Чего ты все лежишь? Сломал ты кость? Вывихнул сустав? Осушил жилу? Отвечай!

Татарин шевелил бессильными руками. Васька прощупывал их по опавшим мускулам, сгибал в локте, спрашивал, где болит, а так как у татарина нигде не болело, а переломов и вывихов тоже не было, заключал, что значит татарин осушил себе жилы. Что это значило и опасно ли это — Васька не объяснял.

— Тебе надо в другой барак, — говорил он в заключение.— Там за тобой уход будет.

Татарину было все равно. Он просил об одном, — дождаться на дворе доктора и попросить его посмотреть больного. Мы все давно уже обещали ему это, но хирург все не попадался нам. Стоять же на холоде часами и ждать его тоже не было охоты.

Другим мучеником в бараке был серб, с пулей в животе... С этой пулей он попал в плен, три года работал у крестьян и не чувствовал от нее больших неудобств. Она дала себя чувствовать только на четвертый, и так остро, что бедный серб влачился, согнувшись пополам, не мог есть и пил только сельтерскую воду. Сербы со всего госпиталя заботились о нем, но и им также не удалось разыскать среди докторов хирурга и привести его к больному.

3

В местном гарнизоне произошел инцидент. Какой-то вольноопределяющийся отказался принести присягу Карлу.

Это было на что-то похоже. На дорожках вдоль ограды стали попадаться люди с таким выражением лица, по которому нетрудно было догадаться, что они знают нечто такое, о чем лучше пока молчать. Кое-кто, возвратившись откуда-то с самыми верными сведениями, поглядывал кругом с веселым

видом и, не распространяясь особенно, собирал пожитки и исчезал. Пленные, записанные инвалидами, готовясь к отправке, сушили сухари на солнце и беспокоились, успеют ли они куда-то „проскочить"...

Мы с татарином никуда не торопились. Ему предстояло лежать и лежать, а я после путешествия все еще никак не мог наесться, чтобы почувствовать в себе силу для новых подвигов.

Дела татарина поправлялись. Он вставал иногда с постели и ходил, уже никем не поддерживаемый. Правая его рука понемногу крепла, он мог двигать ею вверх и вниз, но так как пальцы на ней не гнулись, то из его стараний есть без чужой помощи пока ничего не выходило. Ложка, едва прижатая к ладони большим пальцем, ходила косо в одном направлении и, расплескивая суп, подносила его скорей к плечу, чем ко рту, но татарин не терял надежды и на свободе практиковался над пустой миской и пустой ложкой, доводя себя до изнеможения. Бедняге давно уже хотелось поесть самому, по своему полному хотению. Люди, которые кормили его с ложки, всегда норовили спихнуть ему все поскорей в рот, чтобы у самих не стыло. Татарин давился, возмущался бессердечием здоровых, но молчал.

Совершенно неожиданно случилось также, что в барак зашел долгожданный хирург, которому наконец было дано знать, что в бараке лежат серб с пулей в животе и разбившийся татарин. Татарину он сказал продолжать лежать, серба пообещал отправить „на фотографа" для рентгеновских снимков.

Это был доктор, пользовавшийся известностью в городе; говорили, что у него есть два способа лечения. Одних больных он донимал диэтами, на вечернем визите запрещая им то, что сам же прописал утром, заменяя какой-нибудь персиковый компот, который едва успели приготовить по его утреннему рецепту, кашей с несвежими яйцами, а на следующее утро запрещая и компот и яйца и прописывая больному всего-на-всего стакан холодной воды.

Для других больных у него существовали клизмы, без которых он вообще не любил иметь дела с больными, применяя

их при самых различных заболеваниях. Особенно эффектно это выходило после того, как больной жаловался ему на плохое моральное состояние, на раздражительность, на упадок духа.

— Так, так, — с серьезностью выслушивал его доктор до конца и, отходя, указывал на него глазами сиделке:

— Сюда одну клизму...

Вызывая улыбку у новых людей, присутствовавших при этом, комизм положения явно ускользал от понимания доктора и сиделки, с неудовольствием замечавших, что люди кругом смеются.

Вообще же говоря, это был сорокалетний рассеянного вида толстяк. Увидев себя среди русских, он оглядел всех с благожелательностью и любезно сообщил:

— Скоро вы все поедете домой...

Никто не был особенно поражен этим известием, потому что все знали, что скоро поедут домой, но явное желание доктора порадовать нас расположило к нему сердца.

— Как только вы будете жить там? — прибавил он в раздумье, — у вас там большевики...

— Там увидим, — сказал Васька бездумно, — нам лишь бы доехать...

— Там чорт знает что происходит, — продолжал доктор. — Нечего есть и города горят с восьми концов...

О русских большевиках тогда говорили все. Это была самая последняя интересная выдумка. В газете я часто читал статьи о них, и все они были написаны в том тоне, в каком говорят о сильно расшалившихся милых ребятах. Такие шалости, как прекращение войны и заключение мира, одобрялись; такие же, как изгнание буржуазии и прочее, считались опасными и порицались, и всегда давалось понять, что ребята будут шалить лишь до поры до времени, пока кто-то их не прихлопнет. Широкая публика мало что знала о большевиках толком, и еще мало знали о них и русские пленные.

Даже люди, побывавшие в России, возвращающиеся из плена австрийцы, могли сообщить о большевиках очень немного.

— Ну, как там большевики? — спросил я одного такого пленного.

— О, — ответил он, неожиданно делаясь задушевным, — это хорошие люди... Это очень хорошие люди...

— Почему собственно? — удивился я.

— Когда мы шли с Дону, на одной станции мы попали под их броневик. Пока они стреляли, мы сидели в соломе. Потом мы вылезли. Станция была за ними. Они обошлись с нами хорошо. Они выбросили нам из вагона несколько ящиков с консервами. По целому ящику на пять человек, можете себе представить. Они говорили нам: ешьте, товарищи! теперь все равны!

— Это великолепные люди! — сказал он еще раз. — О них напрасно пишут разные вещи.

Когда кто-нибудь поступал с кем-нибудь очень решительно, ему говорили:

— Вы точно большевик...

Доктор, считая, что каждый русский или уже готовый большевик или будет им впоследствии, разглядывал нас с очевидным интересом. Ему только хотелось определить, кто из нас наиболее типичный, и таким, повидимому, показался ему Васька, потому что, дойдя до его здоровенной фигуры со взглядом слегка оголтелым, доктор заулыбался сильнее и пришел в полное удовольствие.

— Спросите вот у этого, — сказал он переводчику, указывая на Ваську, — не большевик ли он?

Арнольд перевел Ваське, о чем спрашивал доктор. Васька, знавший о большевиках только то, что при них все дорого, но что они за бедных, к удивлению присутствовавших, и не подумал отрекаться от большевизма.

— Сами знаете, — ответил он шутливо, — как нашему брату Исаю Далматскому, живется...

— Бедное состояние, — прибавил он потом жалобным голосом, при общем выжидательном молчании.

— Большевик, — закончил он решительным признанием и осмотрелся с важностью.

Васька не только знал, за кем ему итти в России, но

недурно понимал также значение и темп некоторых, происходивших около него, событий. Именно, очень скоро после докторского визита он, по непонятным для других причинам, решил распродать свое имущество.

Он был обладателем крепкой мало ношеной шинели, пары не плохих штанов, френча, обмоток и прочего одеяния, и так как каждая вещь была у него в единственном числе, ему после продажи предстояло остаться голым или ходить в отрепьях. Таким образом его намерение было решительно непонятно.

Главный козырь Васьки при распродаже была пара крепких франтовских ботинок. Их сшил ему незадолго перед этим и на наших глазах какой-то заезжий, числившийся в инвалидах, сапожник, путаный, фыркавший на госпитальное житье человек, который сам не знал, ехать ли ему с инвалидами в Россию или достать инструмент и работать, где сидит.

Васька смеялся над этим суетливым, прилипчивым, тоскующим по делу человеком, говорил, что сапожник без колодки то же, что дьякон без ораря, и с сомнением спрашивал, точно ли он умеет шить сапоги?

— Кто? — удивлялся сапожник, глядя на Ваську, как на человека с того света. — Я-то шить ли умею?

— Вот именно — ты-то?

— Да другого, брат, мастера, такого, как я, еще поищешь, брат мой...

Васька пожалел несчастного человека, у которого руки явно чесались по работе, раздобыл для него на несколько часов инструмент и притащил кожаных обрезков, а сапожник, сопя и горя, к вечеру изготовил из них ботиночки сортом много выше среднего.

— Сколько тебе за работу? — спросил Васька, приготовясь дорого не давать, да еще постараться заплатить не деньгами, а казенным хлебом, но странный сапожник не хотел ни того ни другого. Он вообще ничего не хотел и видел свою награду уже в том, что ботинки его произвели в бараке впечатление.

Васька не стал настаивать на уплате.

Ботинки привели его в восторг. Он откровенно любовался ими и даже неосторожно выразился, что таких ботинок у него и в России никогда не было, что сильно уронило его в мнении Арнольда и других.

И тем не менее пришел момент, когда Васька, сам одетый в опорки и тряпье, потащил ботинки и остальное великолепие в набитый людьми венерический барак и заголосил с порога:

— Продаю! Продаю! Продаю! Покупай шинель! Хватай штаны! Навались на желетку!

Продавая, Васька явно торопился, охотно уступал и очень скоро вернулся в барак с довольным лицом и с тремястами крон в кармане.

Непонятным образом, желание продать кому-нибудь свое обмундирование обнаружили на следующий день очень многие, но покупателей находилось все меньше.

И все это объяснилось через неделю, в те самые дни, когда в Пеште провозгласили республику, когда с фронта сотнями тысяч двинулись солдаты, когда в госпитале часовые ушли из караульного помещения, когда всем, и своим и пленным, был объявлен свободный путь домой, и когда... был разгромлен цейхгауз N полка, где каждый мог заново обмундироваться с головы до ног.

Тогда-то и обнаружилось, что Васька был не лишен понимания хода событий, хотя не читал газет, тогда как я, читая газету, не понимал самых простых вещей.

Я так мало разбирался в происходящем, что приплелся к разгромленному цейхгаузу только тогда, когда там осталась одна рухлядь. Двери были открыты, оттуда выходили солдаты с охапками тряпья. Все были заняты своими приобретениями, все были разгорячены. Следовало бы войти в дверь, как делали все остальные, но я все еще чувствовал себя пленным, привыкшим к обходам и ужимкам, и вместо двери полез в окно, высаженное до того каким-то пионером разгрома. Окно было очень высоко от земли, но я проявил упорство и ловкость и почти просунулся внутрь. Внутри капрал с винтовкой наблюдал, чтобы дело шло гладко и

люди не очень жадничали. Человек, лезущий в окно, был явный непорядок, капрал закричал и выстрелил в потолок. В страхе я скатился вниз, а затем на меня из окон попадали другие люди, которые были внутри, но, испугавшись выстрела, бросились спасаться кто куда.

Оправившись от переполоха, все снова двинулись к цейхгаузу. Я вошел теперь через дверь, но тоже, вместо того чтобы молча пройти мимо капрала, как сделали другие, я для чего-то остановился перед ним и стал объяснять, почему именно я пришел сюда и как случилось, что все мои вещи пропали в дезинфекции и я остался голым. Капрал, не входя в подробности, повернул меня за плечи и показал на кучу тряпья и старых подошв, взрываемую десятками рук. Впрочем, и тогда я еще чего-то ждал и стоял на месте, и от капрала потребовался легкий поощрительный толчок в спину, чтобы я, наконец, принялся за дело.

Ничего путного в кучах уже не было. Я нашел подходящими лишь латаные брезентовые штаны и какой-то ремень от чересседельника и с этой добычей вернулся в барак, встреченный смехом и недоумением товарищей.

Вся причина моей неудачи заключалась в том, что, пока другие орудовали в цейхгаузе, я был занят чтением большой статьи, где излагалось историческое развитие республиканской идеи в Венгрии от Кошута до наших дней, как эта идея зрела, зрела и, наконец, созрела настолько, что монархия должна была пасть. Хорошо еще, что, дойдя до современного момента, я отложил газету в сторону и не стал читать об эволюции республиканской идеи в будущем, иначе я остался бы даже и без тех штанов и того ремня, какие мне удалось добыть.

4

Мадьярская революция — революция для своих, чужому к ней не пристать. На улицах повсюду веселые лица. На шапках, в петлицах трехцветные ленточки, в каждом взгляде уверенность, радость новизны. Приятно смотреть на такую толпу!

Но почему так плохо чувствуют себя в толпе люди, у которых на груди нет красно-бело-зеленой ленточки — демобилизованные чехи, хорваты, русины? Почему их главное стремление — попасть поскорее в поезд и ехать домой? Почему всю дорогу они нервничают и в тревоге, и только миновав границу, где-нибудь в Бруке или Керешмезо, приходят в себя и немедленно надевают свои собственные желто-голубые и сине-красные ленточки, у многих давно уже лежавшие в кармане?

Почему немецкий летчик, вздумавший пройтись по городу во время остановки поезда, огромный детина в мехах и коже, вынужден все чаще и чаще краснеть от недомолвок и косых взглядов, пока наконец сам не принимает надменного и вызывающего вида? Почему взгляды встречных, блиставшие оживлением и добротой, вдруг тускнеют и делаются непроницаемыми, стоит им упасть на ни в чем неповинного белокурого гиганта, пробегающего город саженными шагами, с руками в карманах, с краской волнения на лице и с вопросом в голубых глазах?

Почему фигура русского пленного, еще недавно попадавшаяся на каждом шагу и ставшая привычной, вдруг начинает казаться какой-то лишней и прямо-таки неуместной?

— Мадьяры у себя дома и желают остаться одни, — вот смысл многих бросаемых ему взглядов!

Бедняга сам чувствует свою неуместность и оттого ступает так неуверенно, с опущенной головой, с разладом в душе. Он привык на этих улицах быть безобидным пленным, ничем больше, а его сделали гражданином, потому что не было оснований не считать его таковым, и с новой ролью он не может освоиться.

Почему десятки тысяч таких фигур, вышедшие из никем не охраняемых лагерей и двигавшиеся по дорогам к Пешту, вызвали там страх и тревогу, такую тревогу, что в театрах были прерваны спектакли, а национальные гвардейцы поставлены под ружье? Между тем единственное, чего хотели эти люди, из которых многие пришли в Пешт, кутаясь в тряпье и одеяла, — это чтобы им дали есть и поскорее посадили в вагоны.

Почему на митинге из десяти ораторов — девять адвокаты, и почему даже самый умный из них не может придумать больше того, что уже возгласил в Пеште Януш Хук с трибуны национального собрания? Почему от таких слов, как мадьярское государство (или, вернее, мадьярский народ, или еще строже — мадьярская нация, все мадьяры) — слушателю-иностранцу становится трудно дышать?

И почему ему так нравится десятая речь, сказанная с запинками седым рабочим, предлагающим установить в Венгрии не больше не меньше как большевистский режим?

И собрание, может быть, почувствовав свежий воздух после духоты, созданной предыдущими ораторами, провожает его аплодисментами...

5

В бараке о совершающейся рядом революции знали немного, да и неоткуда было знать больше. Знали, что по случаю революции многие оделись в новое теплое платье, знали, что по этой же причине можно ехать домой не с пустыми руками, а с одеялом и парой простынь, за что на базарах платили наличными деньгами. Бывало, изо дня в день там и тут можно было наблюдать, как мало-по-малу пустеют бараки, из которых разъезжаются больные, как один за другим исчезают повара с кухонь, сторожа из покойницкой, писаря, профосы, коменданты, как набивается покойницкая трупами людей, которым не суждено было видеть родину, трупами, бросаемыми без толку, прямо с порога в общую кучу.

Итальянцы гордились тем, что Италия с Францией и Англией победили в конце концов Германию, и однажды собравшись вместе, что-то с одушевлением пропели. Русские давно не считали никого врагами и без дальнейшего набивали чем попало вещевые мешки и двигались на вокзал.

— Домой! Там увидим, что правда, что нет.

Госпитальный фельдфебель, оставшийся без рабочих, стал необыкновенно любезным. Он являлся в барак в мундире без звездочек и со споротым галуном и спрашивал, не найдется ли желающих немного поработать, протащить несколько

кварталов тачку с кукурузой или принести из города мешок с хлебом. Он договаривался до немыслимых прежде фраз:

— Не будет ли кто-нибудь так любезен..

Арнольд по этому случаю заключил, что теперь пришло время предъявлять требования. Старые огорчения из-за недоданных порций какао все еще были живы в нем.

— Теперь, — говорил он, лежа на кровати и в поучение окружающим, — дай мне все, что мне полагается, от и до...

Рубил ладонью воздух, показывая, где от и где до, и захватывал довольно большое расстояние.

Меньше всех знал о революции татарин. Его отбитые руки занимали его больше всего. Он лежал в постели, косил глазами на входящих и выходящих, по временам просил о чем-нибудь, помочь ему подняться или перестлать постель, и ложился снова. И как раз в эти дни оживления и сборов в путь он стал жертвой одного недоразумения.

Толстый доктор не забыл, что в нашем бараке лежат серб с пулей в животе и разбившийся татарин, что их надо перевести поближе к операционной, а серба кроме того отправить „на фотографа“.

Но прежде чем отправлять туда серба, ему для успеха снимков требовалось прочистить желудок, т. е. получалась опять-таки та самая клизма, которая сделала имя доктора славным в округе.

— Одному человеку в этом бараке должна быть поставлена клизма, — сказала присланная им сиделка, входя в барак с прибором в руках.

По чутью она верно направилась к кровати серба, но этот огромный согнутый пополам человек боялся клистиров и, не понимая своей пользы, малодушно ответил, что это должно быть не ему, а кому-нибудь другому. Его земляки, в счастьи и несчастьи всегда держащиеся друг за друга, решили, что пришла пора защитить товарища, окружили его постель и приняли решительные позы.

Кто-нибудь другой, к кому отсылал сиделку серб, мог быть единственно татарин, никого другого подходящего в бараке не было, а так как сиделка знала только, что

одному человеку в бараке должна быть поставлена клизма, то она и приступила к татарину с той решительностью и ловкостью, какие даются многолетним опытом, и прежде чем кто-нибудь успел разъяснить ей, что тут происходит ошибка, татарину был вклеен молниеносный клистир.

Переговоры с сиделкой через переводчика заняли немало времени, а в это время вода в склянке убывала, и когда наконец недоразумение выяснилось, оказалось, что спорить уже не из-за чего. Операция была закончена, и оставалось только ждать результатов.

История эта вызвала в бараке немало смеха и внесла в обстановку сборов в дорогу заключительную веселую ноту, но татарину было не до смеха. Его бледное лицо и взгляд, брошенный им на одного веселого человека, хохотавшего при этой оказии до упаду, были выразительны. Тут было и подавленное бешенство, и упрек другим за то, что его не сумели отстоять, и отчаяние от сознания, что сам он без рук и каждый может делать с ним что угодно.

6

Барак стремительно пустел. Все, даже те из больных, кто едва мог доплестись до вокзала, уехали, и некоторые на верную смерть. Путешествия в эти дни были очень трудны. От человека требовалось уменье по нескольку суток стоять на ногах в переполненных вагонах, ехать на крыше через туннели, коченея от холода и задыхаясь от дыма, слезать, где все слезали, чтобы пробежать десяток верст пешком и снова ехать, без пищи, без сна, среди людей, потерявших жалость и здраво рассуждавших, что если человек ослабел, то его можно выложить на рельсы и снять с него сапоги, даже не дожидаясь, пока он умрет, потому что его дело все равно безнадежно, а сапоги нужны здоровому. Больной всем мешал, а крохотные карпатские станции с выбитыми стеклами ни от чего не защищали. Здесь много оставалось мертвых. Даже в случае успеха, если человеку, едва отделавшемуся от эпидемии, с надломленными силами, удавалось про-

скочить через самые трудные места, если до Днестра он крепился из последних, то здесь, где-нибудь под Хотином или Каменцом, где он чувствовал себя как бы дома, сверхсильное напряжение покидало его, и он сразу и совершенно неожиданно превращался в труп. И тут стали возможны такие разговоры между возвращающимися пленными и жителями какой-нибудь придорожной деревни:

— Дядько, пустить ночевать...

— Ночуйте, добрые люди, только не умирайте в хате, бо хлопот много...

— Мы, дядько, не умрем.

— Смотрить, бо вчера тут тоже были ваши, ели, пили, смеялись, легли спать, а к утру один холодный... Деревня — десяток дворов, а за ночь три мертвеца. Вот и считай, если каждый день так будет...

Барак пустел. Уходили люди, исчезали одеяла и простыни, каждый оставлял после себя мусор, какую-нибудь пару портянок или стоптанные ботинки. Охотников подметать барак находилось все меньше.

Люди жили теперь все в одном месте, в самой светлой части барака, около печки. Дальше шел мрак, кровати с развороченными тюфяками, недоломанные стенные шкапики, всякий мусор. Из люков воняло, там гнила пища, ведра супу и овощей, получаемые на тех, кто уехали, и никем не поедаемые. Даже люди, не торопившиеся особенно в Россию, находили, что пора искать себе другое пристанище на зиму. Неприятно было соседство покойницкой, в которой трупы уже не вмещались. Еще неприятнее были жалобы живых больных, являвшихся с просьбами помочь им в их бараках, потому что они всеми оставлены. Даже пример нескольких прелестных мадьярских девушек, явившихся втроем работать среди двухсот тяжело больных, не мог вдохновить нас. Кое-кто, сам не очень твердо держась на ногах, днем таскал больных на носилках из барака в барак, но между делом налаживал себе походную сумку, набивал гвоздей на ботинки и к вечеру шел на вокзал. Больные земляки оставались. Они не роптали. Они понимали, что дурак тот, кто останется

около них, с риском заразиться и умереть как раз в то время, когда каждый может ехать домой. Они только провожали уходящих глазами, и от этих взглядов оставалось такое неприятное чувство, что даже ветер, охватывавший их за порогом, и новые впечатления дороги долго не могли его выветрить, внушить уверенность, что они были правы, во всяком случае не очень виноваты, если не остались и ушли.

Госпиталь дошел до развала и запустения. Кое-кто из бывшего начальства решил вмешаться в это дело. Один обер-лейтенант снова объявил себя начальником и собрал около себя надежных людей. Требовалось прежде всего собрать больных из разных дальних углов в несколько ближних бараков.

Я участвовал в этом деле. Вдвоем с фельдфебелем мы обходили бараки, находя одиноких заброшенных больных. Я помню одного молодого итальянца, который принял меня за священника и с молитвенно сложенными руками просил у меня причастия. Он торопился рассказать мне свои грехи, но у меня не было желания вдаваться в подробности. Я поднял его за плечи, фельдфебель взял за ноги, и, положив его на носилки, мы потащили его вон из барака, в то время как он все еще смотрел на нас просветленным и лихорадочным взглядом.

Среди десятков больных, перетащенных нами в эти дни, был один умиравший итальянец, лежавший в пустом бараке, на гнойном тюфяке, среди испражнений и вони. Мы подошли к нему в то время, когда его одолевала предсмертная икота. Он пришел в госпиталь с сахарного завода, и под подушкой у него хранился мешочек с красным сахаром. За этот самый мешочек он схватился за несколько минут до смерти, спасая его от людей, явившихся может быть с недобрыми целями. Еще удивительнее было, что нашлась какая-то старая мародерка из бывших сиделок, которая позарилась на этот сахар и утащила его, когда умирающий затих. Мы смотрели на нее с ужасом.

Когда в бараке не оставалось ни одного человека, фельдфебель вынимал гвоздь и наглухо заколачивал покинутый барак, со всеми его тюфяками, сломанными кроватями, нечи-

стотами и иногда с каким-нибудь одиноким мертвецом, которого все равно некуда было нести.

Он забивал гвоздь и говорил с странным выражением:

— До лучших дней...

— До лучших дней... — повторял за ним я.

У меня так же, как и у других, была приготовлена сумка с сухарями и на мне были ботинки, годные на месяц пути. В один из вечеров я прошел мимо часовых, снова появившихся у ворот госпиталя, и на вопрос, куда я иду, ответил:

— В Россию...

СОДЕРЖАНИЕ

Переплет работы художника *В. Шелепова.*

Ответств. ред *Л. Цирлин.* Технич. ред. *Л. Чернецова.* Корректор *Ф. Александров.* Ленгослитиздат № 846. Ленгорлит № 12352. Тираж 10 300. Сдано в набор 10|II 1936. Подписано к печати 9/V 1936. Бумага 72×110. Авторск. л. 12,1. Печатных л. 8. Бумажных л. 4. Типографск. зн. на 1 бум. л. 136192. Цена 2 р. 50 к. Переплет коленкоровый 1 р.; бумажный 50 к.

Набрано и отпечатано во 2-й типографии Трансжелдориздата НКПС им. Лоханкова. Ленинград, ул. Правды, 15 Заказ № 1427.

ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Надо напечатать*
46	9 сверху	Кирппе	Криппе
83	11 »	В занисимости	В зависимости
87	9 »	на сквознике	на сквозняке
94	1 снизу	е	не
164	15 »	гогда	года
167	10 сверху	ва	на
173	2 снизу	Козельберега	Козельберга
236	5 »	ховяев	хозяев

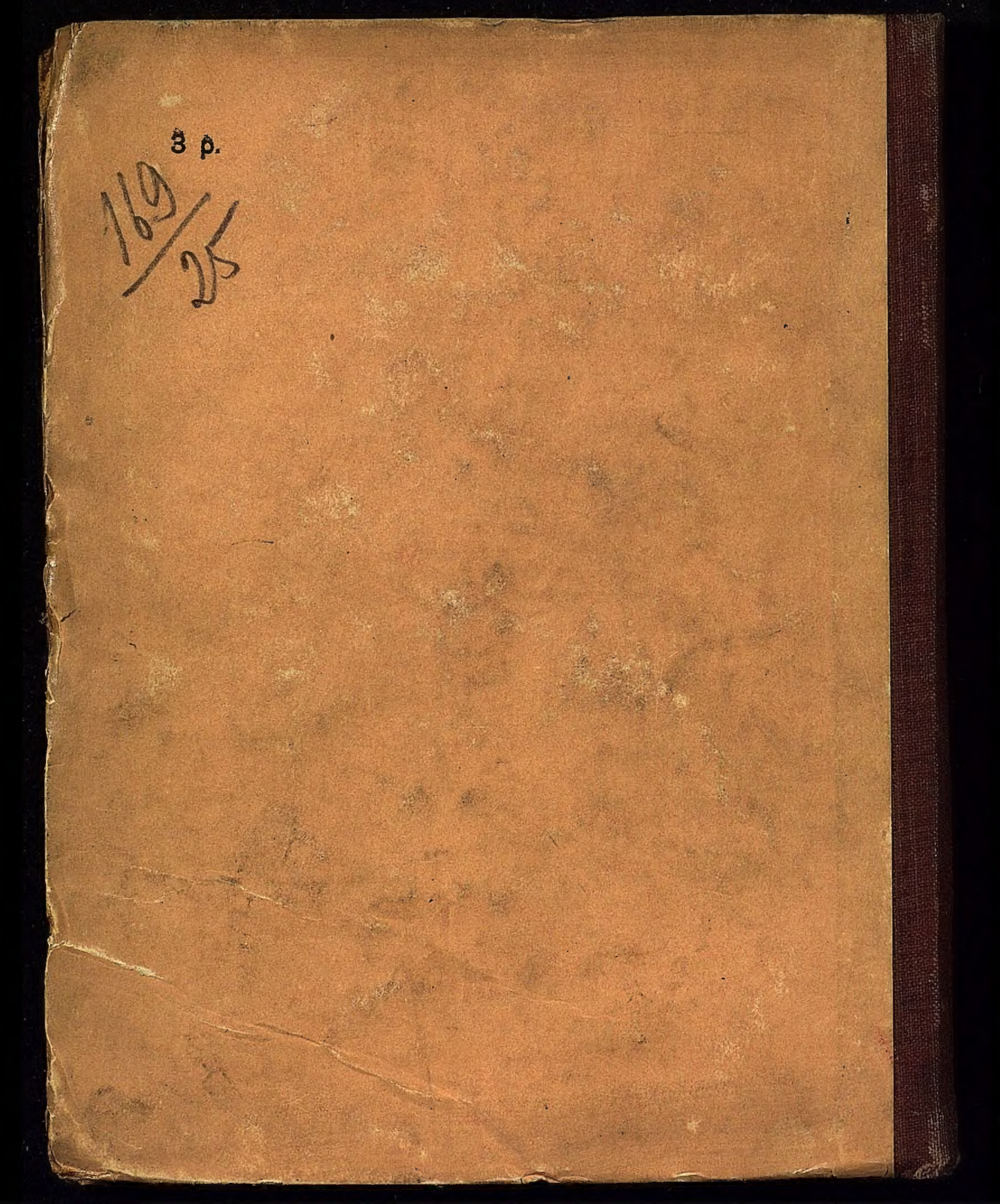
Ульянский

СОДЕРЖАНИЕ

Переплет работы художника *В. Шелепова.*

Ответств. ред *Л. Цирлин.* Технич. ред. *Л. Чернецова.* Корректор *Ф. Александров.* Ленгослитиздат № 846. Ленгорлит № 12352. Тираж 10 300. Сдано в набор 10|II 1936. Подписано к печати 9/V 1936. Бумага 72×110. Авторск. л. 12,1. Печатных л. 8. Бумажных *л.* 4. Типографск. зн. на 1 бум. л. 136192. Цена 2 р. 50 к. Переплет коленкоровый 1 р.; бумажный 50 к.

Набрано и отпечатано во 2-й типографии Трансжелдориздата НКПС им. Лоханкова. Ленинград, ул. Правды, 15 Заказ № 1427.


3 р.
169/25